ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

УГРЮМ-РЕКА. КНИГА 1

Литрес

Вячеслав Шишков

Угрюм-река. Книга 1

«Public Domain»

1933

Шишков В. Я.

Угрюм-река. Книга 1 / В. Я. Шишков — «Public Domain», 1933

Пожалуй, сегодня роман-эпопея «Угрюм-река» читается как яркий, супердинамичный детектив на тему нашего прошлого. И заблуждается тот, кто думает, что если книга посвящена ушедшим временам, то она неинтересна. В ней присутствует и любовь жадная, беспощадная, и убийство на почве страсти, и колоритнейшие характеры героев… Это Россия на перепутье времен. Автор, Вячеслав Шишков, писал: «“Угрюм-река” – та вещь, ради которой я родился». Такое признание дорого стоит.

© Шишков В. Я., 1933
© Public Domain, 1933

Содержание

Часть первая 6
Часть вторая 69
Конец ознакомительного фрагмента. 74

Вячеслав Шишков
Угрюм-река. Книга 1

Жене и другу
Клавдии Михайловне Шишковой
Посвящаю

«Уж ты, матушка Угрюм-река,
Государыня, мать свирепая».

Из старинной песни

Часть первая

1

На сполье, где город упирался в перелесок, стоял покосившийся одноэтажный дом. На крыше вывеска:

СТОЙ. ЦРУЛНА. СТРЫЖОМ, БРЭИМ, ПЕРВЫ ЗОРТ

Хозяин этой цирюльни, горец Ибрагим-Оглы, целыми днями лежал на боку или где-нибудь шлялся, и только лишь вечером в его мастерскую заглядывал разный люд.

Кроме искусства ловко стричь и брить, Ибрагим-Оглы известен пьющему люду городских окраин как человек, у которого в любое время найдешь запас водки. Вечером у Ибрагима клуб: пропившиеся двадцатники – так звали здесь чиновников, – мастеровщина-матушка, какое-нибудь забулдыжное лицо духовного звания, старьевщики, карманники, цыгане; да мало ли какого народу находило отраду под гостеприимным кровом Ибрагима-Оглы. А за последнее время стали захаживать к нему кое-кто из учащихся. Отнюдь не дешевизна водки прельщала их, а любопытный облик хозяина, этого разбойника, каторжника. Пушкин, Лермонтов, Толстой – впечатления свежи, ярки, сказочные торцы бегут со страниц и манят юные мечты в романтическую даль, в ущелья, под чинары. Ну как тут не зайти к Ибрагиму-Оглы? Ведь это ж сам таинственный дьявол с Кавказских гор. В плечах широк, в талии тонок, и алый бешмет как пламя. А глаза, а хохлатые черные брови: взглянет построже – убьет. Вот черт!

Но посмотрите на его улыбку, какой он добрый, этот Ибрагим. Ухмыльнется, тряхнет плечами, ударит ладонь в ладонь: «Алля-алля-гей!» – да как бросится под музыку лезгинку танцевать. Вот тогда вы полюбуйтесь Ибрагимом…

Заглядывал сюда с товарищами и Прохор Громов.

Оркестр давно закончил последний марш, трубы остыли, и турецкий барабан пьет теперь в трактире сиводрал. Сад быстро стал пустеть. Дремучий, вековой, огромный: нередко в его трущобах даже среди бела дня бывали кровавые убийства. Скорее по домам – мрачнел осенний поздний вечер.

Прохор Громов, ученик гимназии, сдвинул на затылок фуражку и тоже направился к выходу.

Вдали гудел отчаянный многоголосый крик, словно граяла на отлете стая грачей. Прохор Громов остановился:

«Драка», – и он припустился на голоса прямиком, через клумбы цветов и мочажины.

– Бей!

Он треснул по голове бежавшего ему навстречу мальца. Опытным глазом забияки он быстро окинул поле битвы: на площадке, где обычно играла музыка, шел горячий бой между «семинарами» и «гимназерами». К той и другой стороне приставали мещане, хулиганы, всякий сброд.

– Ура! Ура!

– Гони кутью в болото!

– Ребята!.. Наших бьют!..

Прохор Громов выхватил перочинный нож и марш-марш за удиравшими. В нем все играло диким озорством, захватывало дух. Рядом с ним неслись кулачники, где-то пересвистывались полицейские, трещали трещотки караульных, лаяли псы.

– Полиция! – И все врассыпную. – Лезь по деревьям!..

Но буйный нож Прохора, наметив жертву, уже не мог остановиться. Прохор на бегу полоснул парня ножом. И сразу отрезвел.

– Полиция!.. – с гамом мелькали возле него пролетающие тени. – Айда наутек!

Прохор Громов вскочил на решетку и, разодрав об железо шинель, перепрыгнул.

– Ага! Есть! С ножом, дьяволенок! – сгреб его в охапку полицейский, но он, как налим, выскользнул из рук и – стремглав вдоль улиц.

– Жулик! Имай! Держи!

Но Прохор юркнул в темный проулок, притаился. Закурил. На правой руке кровь.

«А где ж картуз?» – И сердце его сжалось. Новая его фуражка с четкою надписью на козырьке «Прохор Громов», очевидно, попала в руки полицейских. Прохор перестал дышать. Он уже слышит грозный окрик директора гимназии, видит умирающего парня, полицию, тюрьму. «Боже мой! Что ж делать?..»

– К Ибрагиму!

Да, к Ибрагиму-Оглы. Он спасет, он выручит. Ибрагим все может. И Прохор, вздохнув, повеселел.

Он отворил дверь и задержался у порога. В комнате человек пять его товарищей, гимназистов. Ибрагим правил бритву, что-то врал веселое: гимназисты хохотали.

Прохор поманил Ибрагима, вместе с ним вышел в соседнюю комнату, притворил дверь. Чуть не плача, стал рассказывать. Он ходил взад-вперед, губы его прыгали, руки скручивали и раскручивали кончик ремня. У Ибрагима черные глаза загорались.

– Я за ним… Он от меня… Я выхватил нож…

– Маладэц! Далшэ…

– Я его вгорячах ножом… – упавшим голосом сказал Прохор.

– Цх! Зарэзал?.. – радостно вскричал черкес.

– Нет, ранил…

– Дурак!

– Я его тихонько… перочинным ножичком, маленьким, – оправдывался Прохор.

– Дурак! Кынжал надо… Вот, на!.. – Горец сорвал со стены в богатой оправе кинжал и подал Прохору. – Подарка!

– Да что ты, Ибрагим… – сквозь слезы проговорил Прохор. – Меня исключат… Ты посоветуй… как быть?.. – Он опустился на табурет, сгорбился. – Главное фуражка… По фуражке узнают…

– Плевать! Товарища-кунака защищал, себя защищал. Рэзать нада! Трусить нэ нада… Джигит будэшь!..

На громкий его голос один за другим входили гимназисты.

– Ружье тьфу! Кынжал – самый друг, самый кунак!.. – крутил горец сверкающим кинжалом. – Ночью Капказ едем свой сакля. Лес, луна, горы… Вижу – бэлый чалвэк на дороге. Крычу – стоит, еще крычу – стоит, третий раз – стоит… Снымаим винтовка, стрэляим – стоит… Схватыл кынжал в зубы, палзем… подпалзаим… Размахнулся – раз! – Глядим – бабья рубаха на веревке. Цх!

Все засмеялись, но Прохор лишь печально улыбнулся и вздохнул. Ибрагим сел на пол, сложил ноги калачиком, потом вдруг вскочил.

– Ну, не хнычь… Все справим… Идем! Кажи, гдэ?

Прохор пошел за Ибрагимом.

– Стой, – остановился тот. – Дэнги нада, платить нада. Полиций бэгать. Гимназий бэгать… Дырэхтур стрычь-брыть дарам… не бойся… Ибрагишка все может.

Он рылся в карманах, лазил в стол, в сундук, вытаскивал оттуда деньги и засовывал их за голенища своих чувяков.

– Айда!

2

Лето дряхлело. После жаров вдруг дыхнуло холодом. Завыл густой осенний ветер. С севера тащились сизые, в седых лохмах, тучи. Печаль охватила зеленый мир. Тучи ползут и ползут, льют холодным дождем, грозят снегом. Потом упрутся в край небес, остановятся над тайгой и с тоски, что не увидать их полдневных стран, плачут без конца, пока не изойдут слезами.

Заимка Громовых что крепость: вся обнесена сплошным бревенчатым частоколом. Верхушки бревен заострены, окованы, как копья: лихому человеку не перемахнуть. Ворота грузные, в железных лапах. Вход в них порос травой; они, должно быть, редко отмыкались. Рядом с воротами – высокая калитка, чтоб можно было проехать всаднику. В стене прорублены дозорины. Два сторожа смену держат, все кругом видят. А что за высокой стеной – с воли не видать. Вот если залезть на вершину сосны, что стоит на краю поляны, да раздвинуть ветки, увидишь: в середке бревенчатого четырехугольника красуется просторный, приземистый, под железом, дом. Он в прошлом году срублен. А раньше жили вот в том, посеревшем от времени, флигеле, что прячется за домом. А еще раньше, когда дедушка Данило Громов на это место сел, он жил с женой в маленькой хибарке. Ее тоже берегут, не ломают: пусть внуки-правнуки ведают, посматривая на покосившуюся черную избенку с кустом бузины на крыше, с чего начал дед и до каких хором своими руками достукался.

Откуда пришел сюда Данило Прохорыч почти семьдесят пять лет тому назад – никто не знал.

– Какое кому дело?.. Пришел, да и весь сказ… Из берлоги вылез, – говаривал старик.

И верно. Сначала один, как медведь, корежил тайгу, потом сына Петра поднял. Мельницу-мутовку на речке сделали, пушнину у звероловов скупали, копейку берегли.

И чрез черный труд, чрез плутни, живодерство, скупость постепенно перекочевывали из хибарки во флигель, из флигеля в просторный новый дом.

А теперь весь сухой, в позеленевшей бороде, лысый, но с прежним орлиным взглядом, древний Данило лежал на кровати, под ситцевым пологом.

Ночь была.

– Петька! – позвал он сына. – Петька! Да встань ты, встань… – и закашлялся и зашептал молитву.

В соседней комнате скрипнула кровать.

– Бегу, батюшка! – И в одном белье, босиком шагнул к Даниле чернобородый, лохматый Петр.

– Зажги лампадку.

Петр, что-то бормоча, тревожно зажег лампадку: час был неурочный.

– Подь сюда… Умираю…

У Петра сердце ударило в грудь, сладко замерло, быстро забилось: наконец-то родитель в одночасье сделает сына богачом.

– Петя, – старик взял его за руку. – Вот и конец… вот и…

Петр вздохнул и пристально поглядел в орлиные глаза его.

– Ничего, батюшка. Может, еще…

– Нет, сынок… Крышка… – Старик тяжело задышал: – Ох, дакось воды… Помочи голову. – Он взглянул на колыхавшийся огонек лампадки и перекрестился: – Прости, Заступница-Богородица… Вот, Петька, ты теперь один останешься. Ну, прости меня, душегуба. Разбойник я… Деньги там… Сосну с развилиной знаешь у Зуева болота?.. Ну, отмерь на закат двадцать два шага, камнище найдешь… От камнища три печатных сажени влево: тут…

Петр затаил дыхание, глаза его жадно заблестели, золотой звяк взыграл в ушах.

– На добрые дела… на упокой души… А то погибель мне будет: там не простится, с вас взыщется, с тебя, с Прошки, со всего кореню нашего… Церковь сделай… Бедным… богаделенку построй какую… Слышишь?

– Слышу, батюшка… Сполню…

– Перекрестись… Встань на колени… Клянись…

Петр дал клятву. Потом спросил:

– А сколько, батюшка… всего-то?

– Много, Петька… Ох, большой у меня камень на душе… Убивец я… Не одну душу загубил…

– Кого же ты?

– Ну, чего там… Ну… вот опосля скажу. Отходить когда буду… в тот свет… теперича еще, может, оклемаюсь. Буди Марью. Зови Прошку. Да-а… ведь он в науке… Зря… Не надо бы. Зови попа… Пусть Гараська верхом смахает в Медведево… Стой! стой! Подожди-ка… Ну ладно… Покличь Марью…

Петр плохо понимал, что говорил отец. Пред его глазами стояла сосна, серел покрытый мхом вросший в землю камень, блестели и сладко позванивали червонцы, а дальше… разливным морем бурлила вольная жизнь-услада.

Петр наскоро чмокнул отца в холодный лоб, брезгливо отер губы и тряхнул головой:

– Батюшка, благослови.

– Бог тебя благословит. Иди покличь.

Петр расставил локти, благодарно взглянул на лучистый огонек у образов и радостно зашлепал босыми ногами по крашеному полу.

– Марья, батюшка зовет! Вставай!.. – потрепал по плечу жену. – Ну, шевелись…

– Чего такое? – поднялась та, щурясь на зажженную свечу. – А ты куда это?

– А куда надо… за попом, – бросил Петр, вытаскивая из-под кровати болотные сапоги и суетливо обуваясь. – Черти… Смазать не могли. Как дерево, твердые, не лезут… Дьяволы!

Петр стучал грузными сапогами, отыскивал пиджак. Скорей… Проверить… Он отлично помнит этот камень, много раз отдыхал на нем во время охоты.

«Господи! А вдруг да кто-нибудь нашел?» Терзаясь неизвестностью: богач он или так себе, ни в тех ни в сех, – он спустился с крыльца во двор и покликал Шарика. Тот подкатился к нему серым комом, заюлил возле ног и, обнюхав болотные сапоги, вопросительно взглянул на пустые руки: а где ружье?

– Лука, отопри-ка, – сказал Петр караульному, – с батюшкой чегой-то худо…

– А сам-то куда?

– Да тут, недалече, – смутился Петр и нахлобучил шляпу. – Слушай-ка, Лука. Ты шагай-ка, парень, на кухню. Может, от хозяйки наказ какой выйдет. За попом али что. Ежели за попом – Гараську пошли, пусть Каурку заседлает, а под попа – Сивку.

– Плох, говоришь, старик-то?

– Плох.

Белобрысый маленький горбун Лука, жалеючи, почмокал губами, сдернул мокрую шапку и перекрестился.

Петр быстро шагал знакомой тропой. Шарик бежал впереди. Мелкий дождь упорно поливал тайгу. Утоптанная тропинка была скользка. Фонарь светил тускло, и Петр раза два натыкался лицом на сучья.

Он спустился в глухую балку и перешел вброд шумливый поток. Путь сделался труднее, без тропы. Пробираясь сквозь чащу, Петр чутьем, как волк, отыскивал направление. Он шел через тьму напролом, потрескивая сухим хворостом. Мысль его усиленно работала, весь он был в зыбком угаре. Он то становился выше ростом, шире в плечах: тогда перед ним вставала богатая, еще не изведанная жизнь на виду у всех, чтоб про него гул на земле катился, чтоб трубы трубили, колокола бухали. То вдруг мечты проваливались в яму: вновь делался он маленьким-маленьким, его жизнь замыкалась навеки в бревенчатом частоколе, что опоясал колдовской чертой их таежную заимку.

Петр приподнял фонарь и водил им кругом, соображая, куда идти.

«Ага! Зуево болото. – Он огладил Шарика, пошел прямиком. – Вот и сосна».

Он отыскал обомшелый, тот самый, камень, отсчитал три сажени влево. Разгреб пласт хвои с перегноем и стал копать.

Шарик посовал носом в пахучую раненую землю, посмотрел на хозяина и тоже принялся скрести передними лапами, откидывая назад большие комья. Петр взял лом и прощупал яму во всех углах. Лом глубоко уходил в грунт. Пусто. Стал копать в другом месте. Пусто. Петра брало нетерпение. Однако он выбился из сил, подошел к камню, сел и закурил трубку. Сердце его ныло, фонарь остался на сосне, вдали, а здесь, у камня, тьма. Петр посмотрел туда: ему показалось, что фонарь покачивается, а ветра нет.

– Шарик! – крикнул он и посвистал.

Кто-то слегка ткнул его повыше пятки. Петр вскочил.

– Ты?

Шарик ластился к нему. Фонарь теперь висел неподвижно, но железная лопата там, в яме, цокает о землю и скрипит. Петра затрясло.

«Черти роют… Заклятый клад…» – подумал он.

В яме копошилось серое, седое.

– Шарик! Узы! Узы!

И Петр как сумасшедший бросился к яме. «Надо говорить, надо кричать… А то жуть».

Шершавым голосом твердил вслух, ковыряя землю:

– Ай да дедушка Данило!.. Вот так это отец! Ничего, ладно… Душегуб… А? Ну и хорошая наша порода! Шарик, как ты полагаешь? А? Дедушка-то, Данило-то? Знаешь, который костей-то тебе после обеда выносил?.. Чудно… А посмотреть – святитель, станови в иконостас… Копай! Чего лежишь… Шарик!

Но пес, вытянув лапы, смирно лежал и чужими, бесовскими глазами смотрел хозяину в лицо.

– Ну! Ты! – с испугом крикнул на собаку Петр. – Смотри веселей!

Кругом тьма, жуть. Петр все чаще озирался по сторонам. Кто-то окликает его, ухает, посвистывает, кто-то в дерево ударил. Дождь холодными струйками стекал со шляпы за ворот. Петр терял терпение. Лопата на что-то натыкалась, глухо звуча. Петр то и дело подносил фонарь и со злобой видел лишь толстые перевившиеся, как змеи, корни со свежими на них белыми ранами.

– Не здесь.

Он вновь тщательно отмерил три сажени и стал рыть чуть поправее.

В тайных глазах собаки сверкнул огонь. «Батюшки, да ведь это не Шарик… Ведь это сатана!..» По спине мороз.

– Шарик!.. Ты?!

Но тот, торчком поставив уши, шагнул вперед и заворчал на тьму… Послышался чуть внятный крик:

– А-а-ааа…

Собака ощетинилась, подняла нос и, втягивая сырой воздух, осторожно пошла верхним чутьем на смолкший голос.

– Господи Христе… – встревожился Петр. – А ведь это сатана застращивает…

– А-а-ааа, – вновь почудилось из тьмы, и где-то тявкнул Шарик.

Петр насторожился, переступил ногами: в сапогах жмыхала вода.

«Запугать хочет…» – Он вытащил из-под рубахи крест.

– Ну-ка… С нами Бог! – поплевал на руки, расставил ноги и со всего маху, крякнув, долбанул ломом землю. Звякнул металл. Припрыгнув, Петр ударил немного правее.

– С нами Бог! – Лом вновь стукнулся о металл и соскользнул.

Забыв про холод, Петр сбросил пиджак и в одной рубахе, напрягая сильные мускулы, швырял землю, как мягкий пух.

– А ну! А ну!

Мрак серел. Занималось пасмурное утро. Петр спустился в яму и, разгребая руками черную грязь, едва выворотил из земли большой котел.

– Ху-ууу!.. – взвыл он и вытащил из котла кожаную суму. Он тряхнул – сума звякнула.

– Золото…

Его руки плясали, лицо улыбалось. На него, виляя хвостом, удивленно смотрел Шарик.

– Шарик!.. Шаринька!.. Эва! Видал?!

Он схватил его в охапку и стал крутиться с ним возле ямы. Стиснутый пес кряхтел, молол хвостом. А Петр притопывал, ухал, подсвистывал и хохотал.

– Папаша!.. Что ты!..

Петр врос в землю. Перед ним стоял всадник. Поодаль, в сереющей мгле, всхрапывала лошадь.

– Папашенька… Это я… – сказал Прохор. Он соскочил с седла и несмело стал подходить к тяжело пыхтевшему, чуть попятившемуся от него отцу.

Вдруг отец резко нагнулся и выхватил из-за голенища нож.

– Убью!! – как медведь на дыбах, он встал возле сумы, сверкал ножом и тяжело, с присвистом, дышал. – Проходи, проходи!.. Не отдам… Эва!.. Крест… Рассыпься! Фу!!

– Да что ты, папаша!.. – испугавшись, плаксиво крикнул сын.

– Прошка? ты?!

– Я… Ночевали тут. Заблудились… Ты чего в грязи?

– Так, Прошка… Ничего… Ну, айда домой!.. Дедушка Данило хворает… Плох. А ты пошто приехал?

– Исключили меня… уволили.

Дома они узнали, что их отец и дед, древний Данило, преставился в ночи.

3

Торговое село Медведево стояло при реке.

Петр Громов перебрался с семьей сюда. Он живо выстроил двухэтажный дом со светелкой, открыл торговлю.

Прохору очень нравилась кипучая работа. Он разбивал рулеткой план дома, ездил с мужиками в лес, вел табеля рабочим и, несмотря на свои семнадцать лет, был правой рукой отца.

– Ну, Прошка, далеко пойдешь, – говорил он сыну.

– А как же, папаша, насчет гимназии-то?

– Ну, чего там… дома выучишься… У меня другое в голове.

Он любовно осматривал Прохора, его тонкую, высокую фигуру, орлиный, из-под густых бровей взгляд и думал: «Весь в дедушку Данилу».

Прохор всегда в деле. Улица, катанье с гор, масленичные веселые дни, посиделки с девками не тянули его. В лавке, в тайге с ружьем, во дворе при доме – Прохор всегда у дела.

Он все старался воду в баню провести при посредстве архимедова винта, как в книжке вычитал, да не сумел. Тогда стал от дровяного склада железную дорогу строить, чтоб можно было в дом дрова возить.

Он много читал, брал книги у священника, у писаря, у политических ссыльных, и прочитанное крепко западало в его голову.

Однажды, перед весной, отец сказал за чаем:

– Прохор, вот что, брат… Возьми-ка ты человека да собирайся на Угрюм-реку… Слыхал?

– Надо, папаша, карту…

– Какую еще карту?.. Дай-ка сюда лист бумаги, я тебе срисую… Хоть сам сроду не бывал там, а от бывалых людей слыхивал.

Марья Кирилловна переводила от сына к мужу испуганный взгляд свой и вздыхала.

– Пофыркай!.. – пригрозил ей Петр. – Раз решено, значит, баста. – Он послюнил карандаш и неловко провел по бумаге черту. – Вот это, скажем, дорога от нас в Дылдино, двести сорок верст… Отсюда свернешь на Фролку – верст триста с гаком. Тут река Большой Поток предвидится. Отсюда перемахнешь через волок на Угрюм-реку, в самую вершину.

Купец поставил крест и сказал:

– Это деревня Подволочная на Угрюм-реке. Там построишь плот либо купишь большую лодку – шитик называется, – сухарей насушишь… Да там тебе укажут мужики, что надо. А весной, по большой воде поплывешь вниз.

– Зачем, папаша? – спросил Прохор и взглянул на мать. Из ее глаз текли слезы. – Зачем же мне туда ехать?

– Ну, это не твое дело. Слушай.

И целый час объяснял Прохору, что он должен делать.

– Река большая… слышал я – три тыщи верст. Она впала в самую огромную речищу, а та – прямо в окиян. Тунгусы, якуты по ней. Там большие капиталы приобрести можно… Будут встречаться торговцы в деревнях – всех расспрашивай и все записывай в книжку. А язык за зубами – кто ты таков, по какому случаю… А просто проезжающий. Ну вот, милячок, опасности тебе много будет… А может, и погибнешь, не дай боже… Это к тому, что остерегайся, ухо востро держи.

– Не пущу… не пущу!.. – заверещала мать и притянула к себе сына: – Прошенька ты мой, ангел ты мой!..

Петр резко постучал торцом карандаша в столешницу.

– Будя-а-а!..

Мать выпустила Прохора и, горько заплакав, ушла.

Прохор дрожал. Ему хотелось кинуться, утешить мать, но отец взял его за рукав и усадил возле.

– Ух! – выдохнул отец. – Не слушай баб, не обращай внимания… Иди напролом, никого не бойся, человеком будешь.

– Папаша, а можно мне с собой одного знакомого захватить… Мы с ним вдвоем…

– Кто такой?..

Прохор, волнуясь, рассказал ему о горце. Мать у Ибрагима черкешенка, отец турок, а сам Ибрагим-Оглы называет себя черкесом.

– Верный, говоришь? Так, правильно. Этот народ – либо первый живорез, либо друг лучше собаки… Валяй!

Прохор повеселел и тут же написал Ибрагиму письмо: «Будешь служить у нас… Папаша положит хорошее жалованье».

Начались сборы. Мать чинила белье, сушила пшеничные сухари, готовила впрок пельмени. Скрепя сердце она примирилась с отъездом сына. Петр старался внушить ей, что в коммерческом деле без риску нельзя.

– Вспомни-ка дедушку Данилу, родителя моего… Двадцать раз у смерти в зубах был, а, слава богу, почитай, до ста лет дожил…

Марья Кирилловна успокоилась.

Дорога еще не рухнула, стояли последние морозы, приближался март. Вдруг среди ночи громко залились собаки.

«Ибрагим», – подумал Прохор и сквозь двойные рамы услыхал:

– Отворай!.. Нэ пустишь – через стэна перемахнем, всех собак зарэжим, тебя зарэжим!..

– Ибрагим! – радостно крикнул Прохор, сунул ноги в валенки и выскочил на двор в накинутом бешмете.

– Ну, Прошка, вот и мы… – обнял его горец. – Спасибо, Прошка. Моя все бросал, тайгам любим, слабодный жизнь любим… Ничего. Прошка, едэм… Живой будэшь…

Отцу с матерью Ибрагим-Оглы понравился. Его разбойничий облик не испугал их: много в тайге всякого народа приходится встречать.

Промелькнула неделя.

– Вот, Ибрагим, – сказал ему Петр, – доверяю тебе сына… Я про тебя в городе слыхал… Можешь ли быть вроде как телохранителем?

– Умру! – захлебнувшись чувством преданности, взвизгнул горец. – Ежели довераешь, здохнэм, а нэ выдам… Крайность придет – всех зарэжим, его спасем… Цх! Давай руку; давай, хозяин, руку. Ну! Будем кунаки…

Чай пили в кухне, попросту, как при дедушке Даниле, – хозяева и работники вместе. Кухня просторная, светлая, стол широкий, придвинутый в передний угол, к лавкам, идущим вдоль стены.

Ярко топилась печь. Кухарка, краснощекая Варварушка, едва успевала подавать пышные оладьи. Масло лилось рекой. Вкусно любили поесть хозяева, да и приказчики с рабочими не отставали.

А хозяйка, Марья Кирилловна, поощрительно покрикивала:

– Ребята, макайте в мед-то!.. С медом-то оладьи лучше… Ибрагимушка, кушай. Варварушка, садись…

Ибрагим пил чай до шестого пота. Он всегда угрюм и молчалив. Но сегодня распоясался: хозяин оказал ему полное доверие, почет.

Ибрагим, обтирая рукавом синего бешмета свой потный череп, говорил:

– Совсэм зря… каторгу гнали…

– За что? – враз спросила вся застолица.

Ибрагим провел по усам рукой, икнул и начал:

– Совсэм зря… Сидым свой сакля, пьем чай. Прибежал один джигит: «Ибрагим, вставай, твоя брат зарэзан!» Сидым, пьем. Еще джигит прибежал: «Вставай, другой брат рэзан!» Сидым, пьем. Третий прибежал: «Бросай скорей чай, твоя сестра зарэзан!» Тогда моя вскочил, – он сорвался с места и кинулся на середину кухни, – кынжал в зубы, из сакля вон, сам всех кончал, семерым башкам рубил! Вот так! – Черкес выхватил кинжал и сек им воздух, скрипя зубами.

Все, разинув рот, уставились в дико исказившееся лицо горца.

Вскоре Прохор с телохранителем отправился в безвестный дальний путь.

4

Петр Громов после смерти родителя зажил широко.

– Все время на цепи сидел, как шавка… Раскачаться надо, мошной тряхнуть…

И в день Марии Египетской именины своей жены справил на славу. Поздравил ее после обедни и не упустил сказать:

– Ты все-таки не подумай, что тебя ради будет пир горой… А просто так, из анбиции…

Гости толклись весь день. Не успев как следует проспаться, вечером вновь явились – полон дом.

Мария Кирилловна хлопотала на кухне, гостей чествовал хозяин.

Зала – довольно просторная комната в пестрых обоях, потолок расписан петухами и цветочками, а в середине – рожа Вельзевула, в разинутый рот ввинчен крюк, поддерживающий лампу со стеклянными висюльками.

Посреди залы – огромный круглый стол; к нему придвинут поменьше – четырехугольный, специально для «винной батареи», как выражался господин пристав – почетнейший гость, из штрафных офицеров, грудь колесом, огромные усы вразлет.

– Ну вот, гуляйте-ка к столу, гуляйте! – посмеиваясь и подталкивая гостей, распоряжался хозяин в синей, толстого сукна поддевке. – Отец Ипат, лафитцу! Кисленького. Получайте…

– Мне попроще. – И священник, елозя рукавом рясы по маринованным рыжикам, тянется к графину.

– А ты сначала виноградного, а потом и всероссийского проствейна, – шутит хозяин. – А то ерша хвати, водки да лафитцу.

– Поди ты к монаху в пазуху, – острит священник. – Чего ради? А впрочем… – Он смешал в чайном стакане водку с коньяком. – Ну, дай бог! – и, не моргнув глазом, выпил: – Зело борзо!

Старшина с брюшком, борода темно-рыжая, лопатой, хихикнул и сказал:

– До чего вы крепки, отец Ипат, Бог вас храни… Даже удивительно.

– А что?

– Я бы, простите, бога ради, не мог. Я бы тут и окочурился.

– Привычка… А потом – натура. У меня папаша от запоя помре. Чуешь?

– Ай-яяй!.. Царство им небесное, – перекрестился старшина, взглянув на лампадку перед кивотом, и хлопнул рюмку перцовки: – С именинницей, Петр Данилыч!

– Кушайте во славу… Господин пристав! Чур, не отставать…

– Что вы!.. Я уже третью…

– Какой там, к шуту, счет… Иван Кондратьич, а ты чего?.. А еще писарем считаешься.

– Пожалуйста, не сомневайтесь… Мы свое дело туго знаем, – ответил писарь, высокий, чахоточный, с маленькой бородкой; шея у него – в аршин.

Было несколько зажиточных крестьян с женами. Все жены – с большими животами, «в тягостях». Крестьяне сначала конфузились станового, щелкали кедровые орехи и семечки; потом, когда пристав пропустил десятую и, чуть обалдев, превратился в веселого теленка, крестьяне стали поразвязней, «дергали» рюмку за рюмкой, от них не отставали и беременные жены.

Самая замечательная из всех гостей, конечно, Анфиса Петровна Козырева, молодая вдова, красавица, когда-то служившая у покойного Данилы в горничных девчонках, а впоследствии вышедшая за ротного вахмистра лейб-гусарского его величества полка Антипа Дегтярева, внезапно умершего от неизвестной причины на вторую неделю брака. Она не любила вспоминать о муже и стала вновь носить девичью фамилию.

Бравый пристав, невзирая на свое семейное положение, довольно откровенно пялил сладкие глаза на ее высокую грудь, чуть-чуть открытую.

Она же – нечего греха таить – слегка заигрывала с самим хозяином. Угощал хозяин всякими закусками: край богатый, сытный, и денег у купца невпроворот. Нельмовые пупы жирнущие, вяленое, отжатое в сливках, мясо, оленьи языки, сохатиные разварные губы, а потом всякие кандибоберы заморские и русские, всякие вина – английских, американских, японских погребов.

Гости осмелели, прожорливо накинулись на яства, – говорить тут некогда, – громко, вкусно чавкали, наскоро глотали, снова тыкали вилками в самые жирные куски, и некоторых от объедения уже бросило в необоримый сон.

Но это только присказка. И лишь пробили стенные часы десять, а под колпаком – тринадцать, вплыла в комнату сама именинница, кротко улыбаясь бесхитростным лицом и всей своей простой тихой, в коричневом платье, фигурой.

– Ну, дорогие гостеньки, пожалуйте поужинать… – радушно сказала она. – Гуляйте в столовую, гуляйте.

Все вдруг смолкло: остановились вилки, перестали чавкать рты.

– Поужи-и-нать? – хлопнул себя по крутым бедрам отец Ипат, засвистал, присел, потешно схватившись за бородку. – Да ты, мать, в уме ли? – И захохотал.

Пристав закатился мягким, благопристойным смехом и, щелкнув шпорами, поцеловал руку именинницы.

– Пощадите!.. Что вы-с… Еле дышим…

– Без пирожка нельзя… Как это можно, – говорила именинница. – Анфисушка, отец Ипат, пожалуйте, пожалуйте в ту комнату. Гуляйте…

Всех охватило игривое, но и подавленное настроение: животы набиты туго, до отказа, – отродясь такого не было, чтобы обед, а после обеда – этакая сытная закуска, а после закуски – ужин…

Крестьяне стояли, выпучив глаза, и одергивали рубахи; их жены икали и посмеивались, прикрывая рот рукой.

Однако, повинуясь необычному гостеприимству, толпой повалили в столовую. Низкорослый толстенький отец Ипат дорогой корил хозяина:

– А почему бы не предупредить… Я переложил дюже… Эх, Петр Данилыч!.. А впрочем… Могий вместити да вместит… С чем пирог-то? С осетром небось? Фю-фю… Лю-ю-блю пирог.

За столом шумно, весело. Поначалу как будто гости призадумались, налимью уху кушали с осторожностью, пытая натуру: слава богу, в животах полное благополучие, для именинного пирога места хватит. А вот некоторые в расчетах зело ошиблись, и после пятого блюда, а именно – гуся с кашей, отец Ипат, за ним староста и с превеликим смущением сам господин пристав куда-то поспешно скрылись, якобы за платком в шинель или за папиросами, но вскоре пожаловали вновь, красные, утирая заплаканные глаза и приводя в порядок бороды.

– Анфиса Петровна! Желаю выпить… только с тобой. Чуешь? – звонко, возбужденно говорил хозяин и тянулся чокнуться с сидевшей напротив него красавицей вдовой.

– Ах, чтой-то право, – жеманилась Анфиса, надменно, со злой усмешкой посматривая на именинницу.

– Ну, не ломайся, не ломайся… Эх ты, малина!.. Ведь я тебя еще девчонкой вот этакой, голопятенькой знавал…

– А где-то теперича Прошенька наш? – вздохнула Марья Кирилловна, усмотрев, как моргает нахальная вдова купцу, а тот…

– Прохор теперь большо-о-й, – сказал отец Ипат, аппетитно, с новым усердием обгладывая утиную ножку. – Надо Бога благодарить, мать… Вот чего…

– Да ведь край-то какой!.. А он – мальчишка, почитай.

– Смелым Бог владеет, мать… Поминай в молитвах, да и все.

– Вы помяните у престола, батюшка…

– Помяну, мать, помяну… Ну-ка, клади, чего там у тебя? Поросенок, что ль? Смерть люблю поросятину… Зело борзо!..

– А ну, под поросенка! – налил пристав коньяку. – Хе-хе-хе!.. Ваше здоровье, дражайшая! – крикнул он и так искусно вильнул глазами, что на его приветствие откликнулись сразу обе женщины: «Кушайте, кушайте!» – Анфиса и Марья Кирилловна.

– А поросенок этот, простите бога ради, доморощенный? – поинтересовался старшина, которого начало изрядно пучить, – отличный поросенок… Видать, что свой… Вот у меня в третьем годе…

– Анфиса!.. Анфиса Петровна!.. настоящая ты пава…

– Кто? Кто такой?

– Прошенька-то ведь у меня единственный…

– Ах, хорош, хорош паренек, простите великодушно.

– Петрован!.. Слышь-ка… Данилыч… Эй! хозяин!

– Погодь! Дай ему с кралей-то, – развязали языки крестьяне.

– Эх, на тройках бы… Анфиса! А?

– На тройках?.. Зело борзо!.. – вскрикнул веселый отец Ипат. – Мать, чего там у тебя еще?.. Притащили гору котлет из рябчиков.

– Мимо… не желаем!.. – закричал белобородый румяный старик. – Ух, до чего!.. Аж мутит.

– Нет, мать… Ты этак нас окормишь.

– Кушайте, дорогие гости, кушайте.

– Ешь, братцы, гуляй!.. Царство небесное родителю моему… Капиталишко оставил подходящий…

– А ты на церковь жертвуй! Духовным отцам своим.

– На-ка выкуси! Хха-ха!.. Мы еще сами поживем… Анфиса, верно?

– Наше дело сторона, – передернула та круглыми плечами.

– А вот киселька отведайте!.. С молочком, с ватрушечками. Получайте.

– А подь ты с киселем-то… Ну, кто едет?.. Эй, Гараська! Крикни кучеру… Тройку!..

– Постыдись! – кротко сказала жена, сдерживая раздражение.

– К черту кисели, к черту!..

– Нет, Петр Данилыч… Погоди, постой… До киселька я охоч… – И священник, икая, наложил полную тарелку.

– Господа, тост!.. – звякнул пристав шпорами и, браво крутя ус, покосился на ясное, загоревшееся лицо Анфисы. – Уж если вы, Петр Данилыч, решили широко жить, давайте по-благородному. Тост!

– К черту тост! К черту по-благородному! – махал руками, тряс кудлатой бородой хозяин: – Тройку!.. Анфисушка, уважь…

– Постыдись ты, Петруша… Людей-то постыдись…

– Людей?! Ха-ха!.. – И, вынув пухлый бумажник, хлопнул им в ладонь. – Во!.. Тут те весь закон, все люди…

После ужина затеяли плясы. Но у плясунов пьяные ноги плели бог знает что, и от обжорства всех мутило. Отец Ипат, выставив живот, тяжело пыхтел в углу, вдавившись меж ручек кресла.

– Обкормила ты нас, мать, зело борзо. Ведь этакой прорвой пять тысяч народу насытить можно…

– Едем! – появился Петр Данилыч в оленьей дохе и пыжиковой с длинными наушниками шапке. – Анфиса! Батя!..

И в тесной прихожей, где столпившиеся гости тыкались пьяными головами в чужие животы, в зады, Петр Данилыч громко, чтоб все слышали, говорил оправлявшей пуховую шаль вдове:

– Хотя я, может, и не люблю тебя, Анфиса… при всех заявляю и при тебе равным манером, отец Ипат… Что мне ты, Анфиска? Тьфу!.. Из-под дедушки Данилы горшки носила. Ну, допустим, рожа у тебя… это верно что, и все такое, скажем, в аккурате… Одначе едем кататься вместях. Назло бабе своей. Реви, фефела, реви… Едем, Анфиска!!!

Под звездным небом все почувствовали себя бодрее. Отец Ипат прикладывал к вискам снег и отдувался.

Тройка вороных смирно ждала.

– Марковай, слезовай! – шутливо проблеял батя кучеру Марку, копной сидевшему на козлах в вывороченной вверх мехом яге и собачьих мохнатках.

– Слезовай, Марковай!

– А ты сам, батя, что ли?.. Мотри, кувырнешь хозяина-то, – докарабкалась с козел, бухнула в сугроб копна.

– Ну, скоро вы? – горел нетерпением купец.

– Живчиком!.. Марковай, ну-ка засупонь меня… Не туго!.. Пошто туго-то?! – хрипел отец Ипат. – Аж глаза на лоб. Уф!.. Ну и нажрался… – Перетянутый кушаком по большому животу, он взгромоздился на козлы, забрал в горсть вожжи и, взмахнув кнутом, залихватски свистнул: – Ну-у, вы!.. Богова мошкара… фють!!

Гладкие кони закусили удила, помчались. На первой же версте, на повороте, сани хватились о пень, седоки врезались торчмя в глубокий сугроб, а тройка, переехав священника санями, скрылась.

– Править бы тебе, кутья прокислая, дохлой собакой, а не лошадьми! – выпрастывая из снега хохотавшую Анфису, сердился Петр Данилыч.

– Но, но… Ты полегче… – подбирая меховую скуфью с рукавицами, огрызался отец Ипат. – И не на таких тройках езживали.

Вся сельская знать, бывшая на именинах, мучилась животами суток трое. Отец Ипат благополучно отпился огуречным рассолом, пристав перепробовал все средства из походной аптечки Келлера, староста выгонял излишки банным паром, редькой.

А сам хозяин неделю ходил с завязанной шеей и не мог поворотить головы.

– Ямщичок!.. Чертов угодничек! – брюзжал он на попа.

5

На реку Большой Поток наши путники прибыли ранней весной. Могучая река даже в межень достигала здесь трехверстной ширины, а теперь разлилась на необозримые пространства. Острова были покрыты водой, и только щетки затопленного леса обозначали их границы.

Кое-где еще плыли одинокие льдины, иной раз такие огромные, что, казалось, на каждой из них смело могли бы разместиться деревни три-четыре с пашнями и лугами.

На матерых берегах лежали высокие торосы выброшенного льда, отливавшего на солнце цветами радуги.

Картина была привольна, дика, величественна. Скользящая масса воды замыкалась с одной стороны скалистым, поросшим густолесьем берегом, с другой – сливалась с синей далью горизонта. Вечерами ходили вдали туманы, а утренней зарей тянулись седые низкие облака. Когда вставало солнце, всегда зачинался легкий ветерок и рябь реки загоралась.

Ни деревень, ни сел. Впрочем, вдалеке виднелась церковь. Это село Почуйское, откуда поедут в неведомый край Прохор с Ибрагимом-Оглы.

Прохор сделал визит почуйскому священнику. Тот сидел в кухне, пил водку и закусывал солеными груздями.

– А ты не осуждай… Мало ли чего… – встретил он гостя. – Мы здесь все пьем понемножку. Скука, брат. Да и для пищеварения хорошо. И пищу мы принимаем с утра до ночи: сторона наша северная, сам видишь. А ты кто?

Прохор назвал себя.

– А-а… Так-так… То есть тунгусов грабить надумали с отцом? Дело. Пьешь? Нет? А будешь. По роже вижу, что будешь… Примечательная рожа у тебя, молодец… Орленок!.. И нос как у орла и глаза… – Батюшка выпил, пожевал грибок. – Прок из тебя большой будет… Ты не Прохор, а Прок. Так я тебя и поминать у престола буду, ежели ты полсотенки пожертвуешь…

– Эх, Господи! – вздохнул кто-то в темном углу. – Прок что бараний рог: оборот сделал, да барану в глаз.

Прохор оглянулся. У печки – конопатый мужик лет сорока пяти, плечистый, лысый, вяжет чулки.

– Это Павел, – пояснил батюшка, – слепорожденный. Прорицает иногда. А что, раб божий Павел, разве чуешь?

– Чует сердце. Начало хорошее, середка кипучая, а кончик – оеей!.. – Слепец перекрестился и вздохнул.

– А ты выдыш конца, слепой дурак?! – крикнул Ибрагим. – Шарлатан! Борода волочить надо за такой слова. Чего ребенка мутишь?

– Эх, Господи!.. Татарин, что ли, это? – поднял незрячие глаза раб божий.

Батюшка усмехнулся, шепнул Прохору:

– Прохиндей, не верь… Дурачка ломает, – и громко: – А вот скоро пожалуют сюда с плавучей ярмаркой купцы.

– С плавучей? – переспросил Прохор. – Интересно.

Через два дня, на закате солнца, Прохор встречал эту ярмарку. Вдали забелели оснащенные парусами баржи. Течение и попутный ветер быстро несли их к селу. Белыми лебедями, выставив выпуклые груди парусов, они плыли друг за другом.

– Сорок штук… Ибрагим, красиво? – залюбовался Прохор.

Вскоре ярмарка открылась: выкинули флаги, распахнули двери плавучих магазинов. Зачалося торжище.

Все село высыпало на берег. Выезжали из тайги с огромными караванами оленей якуты и тунгусы, по вольному простору реки со всех сторон скользили лодки: надо торопиться окрестным селам и улусам – через три дня ярмарка двинется дальше, за сотни верст.

С ранней весны до поздней осени плывет она на дальний север, заезжает в каждое богатое село и наконец останавливается в Якутске. Там все распродается, баржи бросаются на произвол судьбы, и обогатившиеся торговцы возвращаются домой.

Вечером Прохор Громов обошел всю плавучую ярмарку и остановился у самого нарядного магазина. От берега, борт к борту, счалены три баржи. На каждой – дощатые, в виде дачных домов, надстройки. Разноцветные по карнизу фонари и вывеска:

ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРУЗДЕВ С СЫНОВЬЯМИ

Прохор вошел в первую баржу-магазин: все полки завалены мануфактурой, сняли четыре лампы-«молнии», покупатели жмурились от ослепительного света, желтый шелк и ситец

полыхали от ловких взмахов молодцов-приказчиков. Тунгусы стояли как бы в оцепенении, не зная, что купить, только причмокивали безусыми губами. Пахло потом, керосиновой копотью и терпким каленым запахом от кубовых, кумачных тканей.

Хозяин, глава дома, Иннокентий Филатыч Груздев, седой, круглобородый старик – очки на лоб, бархатный картуз на затылок, – едва успевал получать деньги: звонким ручейком струилось золото, серебряной рекой текли круглые рубли, осенним листопадом шуршали бумажки. Шум, говор, крик.

– Уважь, чего ты!.. Сбрось хоть копейку.

– Дешевле дешевого… Резать, нет?

– Гвоздья бы мне… Есть гвоздье?

– Проходи в крайний…

– А крендели где у вас тут?

Прохор стоял у стены и улыбался. Ему нравился весь этот шумливый торг: вот бы встать за прилавок да поиграть аршинчиком.

– Раздайсь! Эй ты, деревня! – вдруг гаркнул вошедший оборванец с подбитым глазом. – Прочь, орда! Приискатель прет! Здорово, купцы!! – Он хлопнул тряпичной шапкой о прилавок, изрядно испугав дородную, покупавшую бархат попадью.

– Почем? – выхватил приискатель из рук матушки кусок бархату.

– Семь с полтиной… Проходи, не безобразь, – сухо сказал приказчик.

– Дрянь! Дай высчий сорт… Рублев на двадцать, – прохрипел оборванец. – Да поскореича! Знаешь, кто я таков? Я Иван Пятаков – куплю и выкуплю. У меня вот здесь, – он хлопнул по карману, – два фунта золотой крупы, а тут вот самородок поболе твоей нюхалки. Чуешь?

«Сам» мигнул другому молодцу. Тот весело брякнул на прилавок непочатый кусок бархату:

– Пожалте! Выше нет. Специально для графьев.

– Угу, хорош, – зажав ноздрю, сморкнулся приискатель. – А лучше нет? Ворс слаб… ну, ладно. Сколько, ежели на пару онуч?

– На пару онуч? – захлопал глазами приказчик. – То-ись портянок?

– Аршина по два!.. – крикнул «сам» и благодушно засопел.

– Это уж ты по два носи! Дай по четыре либо, для ровного счета, по пяти.

Когда все было сделано, он швырнул броском две сотенные бумажки, сел на пол:

– Уйди, орда! – и стал наматывать бархат на свои грязнейшие прелые лапы, напялил чирки-бахилы, притопнул: – Прочь, деревня! Иван Пятаков жалаит в кабак патишествовать… Кто вина жрать хочет, все за мной! Гуляй наша!..

И, задрав вверх козью бороду, пошел на берег. Длинные полосы бархату, вылезая из бахил, ползли вслед мягкими волнами. Удивленные примолкшие покупатели враз все заговорили, засмеялись.

– Ну и кобылка востропятая!

– Вот какие народы из тайги выползают. Прямо тысячники… – сказал «сам» мягким, масленым тенорком. – А к утру до креста все спустит. Смее-ешной народ…

…До самой ночи гудела ярмарка. Но купец Груздев затворил магазин рано.

– Почин, слава те Христу, добер. Надобно и отдохнуть. Ну-ка, чайку нам да закусочки… с гостеньком-то, – скомандовал он и взял Прохора за руку. – Пойдем, молодчик дорогой, ко мне в берлогу… Знакомы будем… Так, стало быть, по коммерческой части? Резонт. Полный резонт, говорю. Потому – купцу везде лафа. И кушает купец всегда пироги с начинкой да со сдобной корочкой. Ну, и Богу тоже от него полный почет и уваженье.

Из мануфактурного отдела они через коломянковые, расшитые кумачом драпировки прошли во вторую баржу: «бакалею и галантерею».

Купец отобрал на закуску несколько коробок консервов:

– Я сам-то не люблю в жестянках, для тебя это. А я больше уважаю живность. Купишь осетра этак пудика на два, на три да вспорешь, ан там икры фунтиков поболе десятка, подсолишь да с лучком… Да ежели под коньячок, ну-у черт тя дери! – захлебнулся купец и сплюнул. Сладко сглотнули и приказчики.

– Эх, Прохор Петрович!.. Хорошо, мол, жить на белом свете! Вот я – старик, а тыщу лет бы прожил. Вот те Христос! Нравится мне все это: работа, труд, а когда можно – гулеванье. Ух ты-но!

– Мы еще с вами встретимся… Вместе еще поработаем.

– О-о-о… А кой тебе годик, молодец хороший?

– Восемнадцать.

– О-о-о!.. Я думал – года двадцать два. Видный парень, ничего. А капиталы у тятьки есть?

– Тятька тут ни при чем. Я сам буду миллионщиком! – И глаза Прохора заиграли мальчишеским задором.

Купец засмеялся ласково, живые черные глазки его потонули в седых бровях и розовых щеках. Он хлопнул Прохора по плечу, сказал:

– Пойдем, парень, хлебнем чайку. Поди, девчонки-то заглядываются на тебя? Ничего, ничего… Хе-хе…

До полночи вразумлял его Иннокентий Филатыч, как надо плыть неведомой рекой, что надо высматривать, с кем сводить знакомство. Прохор слушал внимательно и кое-что заносил для крепости в книжку. Сидели они в небольшой комнате об одно оконце. Тут была и походная кровать с заячьим одеялом и три, с лампадкой, образа, возле которых висела гитара.

Старик курил папиросы третий сорт – «Трезвон», прикладывался к коньячку, крестился на иконы, лез целоваться к Прохору и под конец всплакнул:

– Ну и молодчага ж ты, сукин сын Прошка!.. Вот тебе Христос. Женю… Девка есть у меня на примете. Сватом буду. Запиши: город Крайск. Яков Назарыч Куприянов, именитый купец, медаль имеет. Ну, медаль-миндаль нам – тьфу! А есть у него дочка, Ниночка… Понял? Так и пиши, едрить твою в кочережки…

Весело возвращался Прохор домой. Вдоль берега костры горели. У костров копошились, варили оленину, лежали, пели песни охмелевшие тунгусы в ярких цветных своих, шитых бисером костюмах, меховых чикульманах, черные, волосатые, с заплетенными косичками. Пылало пламя, огнились красные повязки на черных головах, звучал гортанный говор.

Небо было синее, звездное. Месяц заключился в круг. Большой Поток шумел, искрились под лунным светом проплывавшие остатки льдов.

Через три дня ярмарка двинулась на понизово. Первыми снялись и всплеснули на утреннем солнце потесями-веслами баржи Груздева.

– Только бы на стрежень выбиться! – весело покрикивал старик. – А там подхватит.

Дул сильный встречный ветер; он мешал сплаву: баржи, преодолевая силу ветра, едва двигались на понизово. Но человеческий опыт знал секрет борьбы. С каждой стороны в носовой части баржи принялись спускать в реку водяные паруса.

Прохор, не утерпевший проводить ярмарку до первого изгибня реки, с жаром, засучив рукава, работал. Ему в диковинку были и эти водяные паруса, и носившиеся в вольную даль расписные плавучие строенья.

– Нажми, нажми, молодчики! Приударь! Гоп-ля!

Рабочие, колесом выпятив грудь и откинув зады, пружинно били по воде длинными гребями.

– Держи нос на стрежень!

– Сваливай, свали-ва-й! – звонко неслось над широкой водной гладью.

– Ха-ха! Смешно, – посмеивался Прохор, помогая рабочим. – В воде, а паруса… Как же они действуют?

На палубе лежала двухсаженная из дерева рама, затянутая брезентом. Ее спустили в воду, поставили стоймя, одно ребро укрепили впритык к борту, другое расчалили веревками к носу и корме. С другого борта, как раз против этой рамы, поставили вторую. Баржа стала походить на сказочную рыбу с торчащими под прямым углом к туловищу плавниками.

– Очень даже просто… Та-аперича пойдет, – пояснил бородач-рабочий и засопел.

Прохор догадался сам: встречный ветер норовил остановить баржу, а попутное течение с силой било в водяные паруса и, противодействуя ветру, перло баржу по волнам. Барже любо-весело: звенит-хохочет бубенцами, что подвешены к высоким мачтовым флюгаркам, увенчанным изображением святого Николая. Поскрипывают греби, гудят канаты воздушных парусов, друг за другом несутся баржи в холодный край.

Разгульный ветер встречу, встречу, а струи – в паруса – несутся гости.

– Хорошо, черт забирай! – встряхнул плечами Прохор, его взгляд окидывал с любовью даль.

– У-у-у… благодать!.. Гляди, зыбь-то от солнышка каким серебром пошла. Ну, братцы, подходи, подходи… С отвалом! – кричал хозяин и тряс соблазнительно блестевшей четвертью вина.

Пили, крякали, утирали бороды, закусывали собственными языками, вновь подставляли стакашек.

– Ну, Иннокентий Филатыч, мне пора уж, – сказал Прохор.

Старик поцеловал его в губы.

– Плыви со Христом. А про Ниночку попомни. Эй, лодку!

И когда Прохор встал на твердый берег, с баржи Груздева загрохотали выстрелы.

– До свиданья-а-а!.. Счастливо-о-о!! – надсаживался Прохор и сам стал палить из револьвера в воздух.

На барже продолжали бухать, прощальные гулы катились по реке.

Прохор быстро пришел в село. У догоревших костров валялись пьяные, обобранные купцами инородцы, собаки жрали из котлов хозяйский остывший корм; какая-то тунгуска, почти голая, в разодранной сверху донизу одежде, обхватив руками сроду нечесанную голову, выла в голос.

А в стороне, у камня, раскинув ноги и крепко зажав в руке бутылку водки, валялся вверх бородой раб божий Павел и храпел. На его груди спал жирнущий поповский кот, уткнув морду в недовязанный чулок.

Прохор постоял над пьяным прорицателем, посмеялся, но в юном сердце шевельнулся страх: а ну, как он колдун? Прохор сделался серьезен, щелкнул в лоб кота и положил на храпевшую грудь слепого гривенник:

– На, раб божий Павел, прими.

6

– Я простоквашу, Танечка, люблю. Принеси нам с Ибрагимом кринку, – сказал поутру Прохор хозяйской востроглазой дочери.

– Чисас, чисас, – прощебетала девушка, провела под носом указательным пальцем и медлила уходить – загляделась на Прохора.

– Адин нога здэсь, другой там… Марш! – крикнул Ибрагим в шутку, но девица опрометью в дверь.

– Цх! Трусим?.. Ничего. Ну, вставай, Прошка, пора. Сухарь дорогу делать будем, шитик конопатить будем. Через неделю плыть – вода уйдет.

Прохору лень подыматься: укрытый буркой, он лежал на чистом крашеном полу и рассматривал комнату зажиточного мужика-таежника. Дверь, расписанная немудрой кистью прохожего бродяги, вся в зайчиках утреннего солнца. Семь ружей на стене: малопулька, турка, медвежиное, централка, три – кремневых самодельных, в углу рогатина-пальма, вдоль стен – кованные железом сундуки, покрытые тунгусскими ковриками из оленьих шкур. На подоконниках – груда утиных носов – игрушки ребятишек. Образа, четки, курильница для ладана. В щели торчит большой, с оческами волос, медный гребень, под ним – отрывной календарь; в нем только числа, а нижние края листков со святцами пошли на «козьи ножки», на цигарки.

Открылась дверь, сверкнула остроглазая улыбка.

– Давай, дэвчонка… Нэ пугайся. Я мирный, – сказал Ибрагим.

– Чего мне тебя, плешастого, пугаться-то? – огрызнулась Таня. – Я с тятенькой на ведмедя хаживала. – Потом улыбчиво сказала: – Вставай, молодец… Чего дрыхнешь! А на гулянку к нам придешь?

– Приду. – Прохор сбросил с себя бурку, стал одеваться.

Девушка услужливо подавала ему шаровары, сапоги, полотняную блузу и все дивилась на его белье:

– Богач какой ты, а? Ишь ты, буковки!.. Кто вышивал-то? Поди, краля? И чего она, дуреха… на подштанниках вышила, а рубаху не расшила. Поди, она богачка?.. Поди, один сахар ест да пряники… А часто с ней целуешься?.. – юлила Таня, стрекотала, и Прохор никак не мог от волнения застегнуть пуговку на вороте. А Таня так и надвигалась грудью, виляла дразнящими глазами.

– Цх! Геть, язва! – прищелкнул пальцами Ибрагим. – Дэржи ее!..

Девушка с звонким смехом опять бросилась вон. Ибрагим взглянул на Прохора. Тот закинул руки, привстал на цыпочки, сладко потянулся и зарычал, как молодой зверь, поднявшийся из логова. Глаза его горели. Ибрагим покачал головой, сказал:

– Нэ надо, Прошка.

Но Прохор ничего не понял. Простокваша была холодная, освежающая. Прохор крепко сдабривал ее сахаром. Таня удивлялась:

– До чего вы, богатые, сладко живете! Взял бы меня к себе, в стряпки хошь.

В глазах Тани была молодая страсть и настойчивая уверенность. «А я тебя поцелую… А ты мой…» – говорили ее жадные глаза.

Что-то непонятное, новое шевельнулось в Прохоре. Он сказал:

– Душно как… – и вышел на улицу.

Утро было солнечное. На лугу пылали желтые лютики. Прохор осмотрелся. Деревенька, куда прибыли они вчера с Ибрагимом, маленькая. Избенки ветхие, покосившиеся. Лишь дом Тани выглядел богато: четыре окна на улицу, занавески, герань, гладко струганная крыша, дверь с блоком в мелочную лавчонку, над воротами расписанный в синий цвет скворечник.

Прохор спустился к берегу. Узенькая, тихая река дремала.

«Вот она какая – Угрюм-река, – разочарованно подумал юноша. – И на реку-то не похожа».

Он сбросил с правого плеча бешмет и швырнул через реку камнем. Урча и воя, словно большой шмель, камень пулей пересек пространство и ударился в румяно-желтый под солнцем ствол сосны. Прохор опустился к урезу воды, где мужики конопатили шитик.

– Что ж река-то ваша какая маленькая? Камнем перебросишь.

Отец Тани, черный как грач, оторвался от работы и сказал:

– Силы не набрала… Она еще взыграет. Вот ужо к Петровкам, когда все болота оттают в тайге. Поди умучился дорогой-то?

Да, он устал вчера изрядно. Тридцать верст, отделяющие Почуйское от этой деревеньки, показались ему сотней. Грязь, крутые перевалы, валежник, тучи комаров.

– Вот погодите, – сказал хвастливо Прохор. – Через десять лет пророю от вашей Угрюм-реки к Большому Потоку канал. Тогда в Почуйское будете на лодках плавать. А то и пароходы заведу.

– Нет, брат паря, – насмешливо возразил второй мужик, – еще у тебя кишка тонка.

– Чего ты понимаешь, медведь! А я знаю.

– Знаешь ты дуду на льду.

– Осел! – заносчиво крикнул Прохор.

Мужик раскрыл рот, чтобы покрепче обложить мальчишку, но, встретившись с его гневными глазами, нагнулся к шитику и с сердцем затюкал киянкой по конопатке.

Тропинкой спускалась к воде Таня. Она закинула обе руки на коромысло, лежавшее у нее на плечах, от этого грудь ее приподнялась и колыхалась под голубой свободной кофтой.

– Пусти… Ишь ты, загородил дорогу-то, – толкнула она крутым бедром зазевавшегося Прохора и усмехнулась белыми, как фарфор, зубами.

У Прохора заалели щеки. А девушка, подобрав юбку, вошла в воду. Было мелко. Она взглянула на Прохора, подняла юбку выше и зачерпнула серебряной воды в ведро. Прохор, не отрываясь, смотрел на ее крепкие ноги и вдруг всю раздел ее глазами. Но тотчас же в смущении отвернулся и пошел к лодке. «Выкупаться надо», – подумал он.

Сел в корму и с силой взмахнул легким, как соломинка, веслом. Течение стало быстрее, мелькали кусты, тонули в водоворотах широкие листья кувшинок с распускавшимися бутонами. А вот и приплесок с мелким сыпучим песком. Прохор причалил, быстро разделся и бухнулся в воду.

Июньская вода все же была прохладна. Дул крепкий ветерок, обрызгивал воду серебристой рябью, гнал облака пищавших комаров в тайгу. Прохор фыркал, отдувался, гоготал, сплавал на ту сторону, нарвал фиалок и царских кудрей, расцветил букет огнями желтых лилий и поплыл обратно.

– Что за черт? А где же белье?!

Лодка была пуста. Очевидно, смахнуло ветром. Он вскочил в лодку и проворно схватился за весло.

– Ау! – вдруг прозвучало из кустов.

– Эй! Отдай! Это ты взяла? Татьяна, ты!

– Иди, миленок, ко мне… Иди!..

Прохор, скорчившись и стыдливо прикрывшись рукой, сидел в лодке. Что ж ему делать?

– Иди… Ну, скорей… Красавчик мой!

Прохор еще не знал женщин, но чувство созревающего мужества частенько беспокоило его. И вот теперь…

Сквозь шелестевшую листву голубело платье Тани, словно невидимая рука сыпала сверху незабудки.

– Отдашь или нет?! Я озяб.

В ответ – задорный смех. В Прохоре закипело раздраженье. Он бросил колючее слово.

– Ушла. Ну тебя! Подурачиться нельзя… – обидчиво крикнула Таня, и кусты зашуршали, как от удалявшейся лодки камыши.

Прохор, все так же прикрываясь и вздрагивая от свежего ветра, побежал к одежде. Его стройное тело, еще не обсохшее от воды, белело на солнце, как снег. Ветер мешал надеть рубаху, трепал рукава, озорничал. Прохор запутался головой в одежде и вдруг… его ноги кто-то обхватил и жарко припал к ним.

– Нахалка! Ну и нахалка! – весь сжавшись от стыда, с гневом оттолкнул он Таню и, не владея собой, ударил ее.

Девушка вздрогнула, запрокинула голову и умоляюще глядела в его лицо, безмолвная.

Прохор тяжело рванулся прочь, бросился на землю и стал, ругаясь, одеваться. Голос его осекся, сделался слабым:

– Ну и девки у вас… А! Первый раз видишь и лезешь.

А та привалилась к нему, вся дрожала.

Возвращались они в лодке по густым розовым волнам. Страшная, влекущая к себе глубь внизу, и кругом пахло разомлевшими под зноем цветами. Глаза Тани были закрыты: она улыбалась, обнажив свои белые ровные зубы.

Прошла неделя. Шитик был налажен. Заготовленные впрок сухари высушены великолепно – звенели, как стекло. Можно было отправляться в путь, но Прохор медлил.

– Вода еще не пришла, – говорил он.

– Знаем мы эта вода. Нэ надо, Прошка… Рано дэвкам любишь, больно молодой, – журил его Ибрагим, сидя под окном и натачивая об оселок кинжал.

Вот на Кавказе у них другое дело: там солнце, как адов глаз, горячее, там в январе миндаль цветет, и люди созревают быстро. Нет, нехорошо Прошка поступает. Не за тем посылали его мать-отец в неведомую сторону. Кто в ответе будет, ежели с ребенком грех случится? Он, Ибрагим. Кто клятву дал, что ребенок будет цел? Кто?

– Я не ребенок! – крикнул Прохор. – Запомни это. – Он крупным шагом, стараясь громко стучать в пол подкованными сапогами, подошел к стене, сорвал с гвоздя бешмет и вышел на улицу.

Ибрагим, как был, согнувшись над кинжалом, так и остался, только прищелкнул языком и посмотрел вслед Прохору, словно старый орел на соколенка, впервые выпорхнувшего из гнезда.

Вечер был тихий. Солнце упало в тучи, вода в реке стала сизой, задумчивой, и кровь обнаженного обрыва потемнела. Вдали погромыхивало: наверное, к ночи гроза придет.

Чтоб прогнать восвояси докучливых комаров и мошек, молодежь замкнула себя в огненном кольце; кругом пылают-пышут в небо веселые костры, а в середке – лихая песня, пляс.

Шире раздайтесь, братцы! Прохор в круг вошел. Громче, дружней пойте песни, сегодня Прохор правит отвальную, а завтра… Эх, что там про завтра толковать: пой, кружись, рой землю каблуками!

Грянула звериным ревом песня:

Я любила Феденьку
За походку реденьку…
Я любила Васеньку
За бумажку красненьку!

Прохор в шелковой похрустывающей рубахе, перехваченной по тонкой талии серебряным кавказским поясом – подарок Ибрагима, – сложив на груди руки, отплясывал возле веселой Тани.

А плясовая разухабисто гремела, крепко похлопывали в такт мозолистые ладони.

Здоровые глотки парней и звонкие девичьи голоса далеко разносят песню во все стороны. Плывет песня над рекой, толкается в берега, в тайгу и, будоража пламенные гривы костров, улетает ввысь, к сизой, придвинувшейся вплотную туче.

Я любила Мишеньку
За зелену вышивку.
Я любила Петеньку

За шелкову петельку.

Высоко подпрыгивает Прохор, ударяя каблук о каблук, крутится-крутится, не спуская с милого лица влюбленных глаз. А Таня вся ослабла от какого-то сладкого томленья, тихо улыбается Прохору, лениво взмахивает в воздухе каемчатым платком.

– Целуй! Прохор, целуй! – раздалося от костра.

Прохор притянул к себе Таню, обнял; та жеманно подставила губы, не отталкивая его и не воспламеняясь: игра ведь, не взаправду… Но тут, словно бревном по голове, ударил Прохора злой, сиплый, как у пьяницы, голос, скандально заоравший:

Целовала Прохора,
После три дня охала.
Купец в лодочке уплыл,
Таньку навек загубил.

– Ха-ха-ха!! – заржал, всколыхнулся воздух.

– Молчи, Оська! – с хохотом закричали парни. – Он тебя вздует… Он за черкесцем сходит.

У Прохора на голове зашевелилась шляпа. Он шагнул к кострам, где сидели парни.

– Это кто? – Его голос был упруг и мужествен. – Ты?!

Перед ним, задрав вверх ноги и вытянув руки, словно обороняясь от неминучей трепки, лежал на спине верзила-парень и тонким, щенячьим голосом притворно выкрикивал:

– Я… я это. Ей-богу, я… Таперя зашибет меня купец. Вот те Христос… Братцы! Заступись…

Огонь костров освещал его толстогубый, насмешливо кривившийся рот и прищуренные пьяные глаза. Медные глотки сотряслись смехом.

– Черт! – ругнулся Прохор. – Ты издеваться?! – Он ловкой хваткой сорвал с ноги верзилы заляпанный глиной сапожище и, размахнувшись, запустил им в своего обидчика.

Тот хрюкнул, вскочил и грудью полез на Прохора.

– А, купчишка! Ты так-то?

– Уйди!

– Ты наших девок забижать?! Братцы, катай его!

Тут врезались между ними парни, а девки подняли неимоверный визг.

– Прошенька, голубчик! – всхлипывала Таня, увлекая за собою Прохора.

– Мотька! Ты сдурел?.. – крепко держали верзилу парни и шипели, будто гуси: – Вот подвыпьем ужо… Тогды… Без девок чтобы, без огласки… – И к Прохору: – Приятель, где ты? Прохор Петров! Он же ненароком, он так… Ну, давайте мировую.

В бане огонек, но скудный свет его не проникал на волю: единственное оконце заткнуто старыми хозяйскими штанами.

Парней загнал в баню дождь с грозой. Сидели на полу, плечо в плечо, возле четвертной бутыли, тянули водку из банного ковша. Тесные стены и низкий потолок покрыты сажей, пахло гарью, мылом, потом, и все это сдабривалось какой-то кислой вонью, словно от пареной капусты. Пили молча, торопливо, громко чавкали круто посоленный, с луком, хлеб.

Но молчание прервал верзила. Он налил в ковш вина.

– С предбудущим отвалом тебя, Прохор Петров… – И не успел выплеснуть вино в широкий рот, как грянул неимоверной силы громовой удар; все подпрыгнули, хватаясь друг за друга: всем показалось, что баня провалилась в тартар.

– Вот так вдарило! – сказал кто-то.

Беседа не клеилась: не о чем было говорить, всех связала одна мысль, и эта мысль черна, как стены бани. Впрочем, водка брала свое: молчанка сменилась шепотом, а там и загрозили.

Но в эту минуту Прохор плохо слышал. Прохор был в своей мечте, сладостной, влекущей. Все бурливей становится река, шитик мчится быстро, Прохор в веслах, Таня на корме. Солнце, легкий ветер, паруса. А по берегам цветы, цветы. И не цветы – червонцы, золото. «Таня, золото!» – «Да, Прошенька, золото». – «Таня, мы будем жить с тобой в хрустальном дворце». – «Да, Прошенька, да». А вот и вечер, ночь. Тихо малиновка поет, тихо волна голубая плещет, шепчутся на рябине листья. И течет горячая по жилам кровь, и в одно сливаются влажные губы: «Таня, милая моя». – «Ой, Прошенька!»

– Ой, Прошка! – Это там, в избе.

Сквозь зыбучий мрак непогожей ночи, сквозь вспышки молний, хлюпая по грязи, падая, мчался вдоль деревни Ибрагим. Торопливая дробь дождя и глухие раскаты грома не могли заглушить ни лая собак, ни отчаянных криков и ругани там, у речки, возле бани. Вот хрустнула с крепким треском выломленная из частокола жердь, и загремел высокий знакомый голос.

«Прошка это воюет», – с удовлетворением подумал Ибрагим, ускорив бег. Он натыкался во тьме на изгородь, на избы, на стоявшие среди дороги сосны, вот утрафил в нужный переулок и, шурша обсыпавшимися камнями, покатился по откосу вниз.

Он чутко слышал, как свистела в воздухе жердина, как пьяно орали и крякали парни, вот палка щелкнула, словно по горшку, кто-то крикнул: «Ой ты!» – и крепко заругался.

«Прошка».

Тьма озарилась медлительным блеском молнии. Перед Ибрагимом всплыла из мрака живая куча тел. Вниз лицом валялся Прохор, кулаки парней смачно молотили его по чем попало.

Ибрагим остановился, улыбка скользнула по его лицу.

– Ничего… Пускай… Пырвычка будет… – Но вдруг его ноздри с шумом выбросили воздух: – Геть, геть!! – И звонкая сталь у бедра звякнула по-строгому: – Кынжал нэ видишь?! Смерти хочешь? Цх! Режь!

Как овцы от кнута, парни молча – прочь, пьяные ноги не знали, куда бежать, и взмокшие спины в страхе чувствовали по рукоять вонзавшийся меж ребер черкесский нож. Парни падали, хрипели, ползли умирать в кусты, сталкиваясь друг с другом лбами. Один бросился в реку, но и там мстящий клинок настиг его: парень завизжал, как поросенок, и забулькал в воде.

А черкес меж тем стоял на месте, добродушно удивляясь трусости гуляк. Потом шагнул к растерявшемуся Прохору, ощупью сгреб его за шиворот, высоко приподнял, как ягненка, и встряхнул:

– Будэшь дэвкам бегать?! Будэшь водку жрать?!

Прохор шипел, плевался.

– Геть! – крикнул Ибрагим и швырнул его на землю.

Прохор внезапно протрезвел и вмиг проникся к Ибрагиму уважительным страхом, себя же почувствовал маленьким, несчастным. Он всхлипнул, словно наказанный ребенок, и, виновато съежившись, поплелся домой.

За ним угрюмо, важно шагал черкес. Ему хотелось приласкать Прохора, заглянуть в его глаза, сказать теплое, ободряющее слово.

– Другой раз ребра ломать будэм! Щенка худой! – визгливо крикнул он.

Прохор, пошатываясь, надбавил шаг.

Парни всю ночь до зари буйным табуном ходили по деревне, останавливались возле дома Татьяны, вызывали черкеса на честный кулачный бой.

Поутру Татьяна плакала горько, щеки ее горели от двух звонких пощечин, что влепил отец. Мать, пофыркивая, возилась у печки и растерянно сморкалась в фартук.

А черкес, засучив рукава, усердно скреб кинжалом вымазанные дегтем ворота, смывая с них девичий позор. Татьяна уткнулась лицом в подушку, плечи вздрагивали, катились слезы.

И еще нужно Татьяне плакать много-много. Прохор Петрович! Прощай!

7

Погода стояла мрачная, накрапывал дождь, и на душе у Прохора мрачно.

Деревня Подволочная, где жила Татьяна, далеко осталась позади. Шитик беззвучно скользил вперед, обгоняя дремотные речные струи. Поросшие лесом берега томили своим однообразием, и все кругом, под туманной сетью мелкого дождя, было серо, скучно.

На обгорелой лесине, изгибая шею, надсадисто каркала ворона, точно костью подавилась: «Кх-кар, кх-кар». Две сороки стрекотали у самой реки, на окатном камне, блестевшем от дождя.

Угрюм-река наводила на Прохора тоску. Шитик тянуло вперед, а мысли юноши возвращались все к ней, к Татьяне, и никак он не мог направить их в деловое русло.

– Будет, побаловался… надо и за работу, – говорил он сам себе, как искусившийся в жизни человек, деловито вынимал книжечку, зарисовывал повороты реки, всякий раз точно отмечая время.

– Эй, Фарков! А как называется этот ручеек?

Константин Фарков, чернобородый мужик лет пятидесяти, длиннорукий, жилистый, скуластый, сидел в лопашных веслах. Он нанялся поводырем – вроде лоцмана, – он поведет шитик до Ербохомохли, до последнего жилого места на Угрюм-реке.

Фарков утер рукавом серого азяма вспотевший лоб.

– Это не ручеек, а старица, протока. Вот ужо она версты через три широко выйдет.

Прохор отметил в книжке. А на полях написал: «Таня, Таня… Я тебя люблю», потом перевернул страницу и стал рисовать по воспоминанию милое лицо; за лицом явилась шея, нагая грудь. Прохор сладко вздохнул, покосился на сидевшего в корме Ибрагима и густо зачеркнул рисунок.

– А вот тут Антипово плесо зачинается, – раздался крепкий лесной голос Константина. Он стал рассказывать плавно, мерно, он много знает забавных случаев, любопытных историй в этой дикой таежной стороне. – А с Антиповым плесом дело было так. Значит, стояло зимовье – вот уже мимо поплывем, – в зимнее время туда ямщики завертывают греться да чайку попить. И жил там старик Антип, а невдалеке от зимовья похоронена тунгуска, раскрасавица девка, шаманством занималась, волховством. Вот она вставала по ночам из своей могилы и пошаливала по тайге, очень всех пугала…

Прохор весь душой и телом тут, на шитике, но вот внезапно очутился там, у Тани, и вновь пережил недавнюю гнетущую разлуку с ней. «Надолго ли? Может, навсегда!»

– А морозище палящий был: плюнешь – слюна камнем падает. А он – превечный ему спокой – в одних портках да рубахе. Так навовсе и замерз.

– Кто это? – очнулся Прохор, губы его дрожали, щекотало в горле.

– Кто это?.. Антип… Нешто не слыхал сказ-то мой?

Глаза Прохора все еще далекие, затуманенные, но все-таки он овладел собой:

– Расскажи. Мне интересно.

– Вот я и говорю, – начал Фарков недовольным голосом. – Она, эта самая колдовка-то, шаманка-то, раз середь ночи к Антипу и объявись возьми. Да как крикнет: «Ей, вставай, Антип! Я, мертвая, к тебе пришла, гулять пришла, плясать пришла!..» А сама ударила ладонь в ладонь, подбоченилась – в красном во всем, в бисере, – да как пошла трепака откалывать, только вихорь засвистал по зимовью. Тут наш Антип заорал с перепугу благим матом: «Сгинь, нечистая сила, сгинь!» – да в одном бельишке, босой по морозу-то – дуй, не стой! Дак, веришь

ли, пятнадцать верст без передыху отмахал, а тут торнулся, значит, в сугроб носом и застыл… Белый весь лежит, белей снегу белого, и глаза белые, остеклели, как у судака… Вот, брат.

– Удивительная вещь… – Прохор с любопытством поглядел на Фаркова и стал записывать.

– Врешь складно, – крикнул Ибрагим. – По башке веслом тебя! Нэ ври!

В середине шитика сделана крыша из брезента, натянутого на дугообразные упруги. Поэтому, чтоб лучше разглядеть сидевшего в корме Ибрагима, Фарков вытянул шею, бросил весло и сказал:

– Как это – вру?

И Прохор тоже:

– Ничего не врет. – Ему хотелось досадить Ибрагиму за вчерашнее, и в Фаркове он почувствовал своего союзника.

Углы рта Ибрагима с подрубленными черными усами, с окладистой черной бородой, подтянулись к ушам. Ибрагим ядовито ухмыльнулся:

– А ты видал, кто к Антыпу приходил?.. Может, баран приходил! И какой слово говорил – ты слыхал? Может, мертвый старик тебе толковал?

Прохор было ощетинился, но вдруг захохотал:

– А верно ведь.

Фарков в недоуменье помигал, засопел и лениво взялся за весла.

– Такой слых в народе… Я почем знаю… – растерянно сказал он и уставился в булькающую под веслами воду.

Небо прояснилось. Луч заходящего солнца прорезал облако. Все кругом сделалось приветливо и нежно, словно улыбка девушки, только что переставшей плакать. На душе у Прохора тоже стало хорошо. Его подзуживало дружелюбно пошутить над провравшимся Фарковым, но тот был мрачен, все так же смотрел в воду и сердито бухал веслами. Весь вечер плыли в молчанье, и когда река под сгустившимся сумраком сделалась обманчива, Фарков скомандовал:

– Вороти к берегу! Круче, круче!

Упругим поворотом шитик стал резать воду, и дно его зашуршало по прибрежному песку.

Разложили костер, сварили чай и двух застреленных в дороге уток. Фарков все еще мрачен, молчалив. «Нет, он не врун, он все-таки оправдается, докажет» – так говорили его чуть раскосые черные глаза.

Стемнело. Река, тайга и небо слились в одно. Но вот взошел месяц, и картина сразу изменилась: на противоположном берегу обозначились темная щетина леса, песчаный откос и торчавшие в реке коряги, возле которых тихо плескалась вода, играя голубоватым серебром под лучами месяца.

– Сорок верст здесь будет, – проговорил Фарков. – Эвот и зимовье Антипово, – и указал рукой за реку. – Видишь, месяц в стекла бьет. И шаманка там схоронена.

Прохора взяла легкая оторопь, но он с молодым задором сказал:

– Айда туда!.. Посмотрим…

– Айда!

И быстро переплыли реку.

Когда подошли к зимовью, у Прохора заколотилось сердце. Фарков отбросил кол, припиравший снаружи дверь, и оба они, набожно перекрестившись, шагнули в избу. Кромешная тьма в избе. Должно быть, месяц скрылся в облаках.

– Что это? – прошептал Прохор.

– Где?

Ему показалось: светятся во тьме два горящих угля, как пара волчьих глаз. Вот всколыхнулся воздух, что-то мягко прошумело, угли погасли, но через мгновение вновь загорелись в другом месте. Прохор уцепился за руку мужика.

– Ничего… Это я знаю кто… Это филин, – сказал Фарков спокойно, зажег огарок и направился в угол, где светились глаза. Но там ничего не оказалось, кроме черной, закоптевшей иконы.

– Оказия, – протянул он, осматривая все углы, – это она, стало быть…

– Кто?

– Ну, кто, кто… Не понимаешь, что ли?

Прохор не заметил, что голос Фаркова борется со страхом, и весело сказал:

– Интересно!..

Фарков с удивлением посмотрел на него и, пристыдившись, успокоился.

– Вот плешастый-то твой не верит, а, между прочим, после Антипа здесь жил солдат из деревни Оськиной. Поплывем мимо, – можешь справиться. Ему тоже видимость была, вот в это самое оконце колдовка-то к нему лазила. – Фарков поднял над головой огарок. – Видишь? В верхнем конце под самым потолком – дыра.

– Вот шаманка и летала кажину божью ночь к солдату, а тот выпить не дурак, да в пьяном положении с тунгуской-то и снюхался. Да как и не слюбиться. Уж очень собой-то пригожа была, не девка – сахар. Сильно солдат одобрял ее. Ведь солдат-то думал, что она живая, а на поверку-то вышло – мертвая, самая настоящая покойница.

– А где же она похоронена?

– Вот пойдем, коль не боишься.

Прохор с тревогой осмотрелся. Живая тьма сгущалась, напирала, хотела притушить огарок, как морской маяк волна. Чужие тени мягко шмыгали во тьме, падали, вставали, тянулись к Прохору. Вот словно бы ударили ладонь в ладонь, и с тихим смехом кто-то пустился в пляс – ближе, ближе – кто-то голубой, трепещущий, холодный.

– Пойдем, Фарков! – в страхе метнулся Прохор к двери.

– Ты чего? Это ж месяц.

В окно, как призрак, тянулся свет луны, тени приникли к полу, присмирели, и тьма стала неподвижной, выжидающей.

Шли густыми зарослями. Месяц освещал им путь. Пихтач, сосны и боярка цеплялись за Прохора, предостерегающе шумели, не пускали, с размаху хлестали по лицу.

– Ну вот, смотри, – сказал Фарков, кивнув вверх и закуривая трубку.

На двух врытых высоких столбах лежала колода. Она сверху прикрыта широкими кусками бересты. Береста голубела и, казалось, вздрагивала, словно лежавший под ней мертвец тяжко вздыхал.

«Это ветром», – одинаково подумали оба, но голубой тихий воздух не колебался. Месяц привстал на цыпочки и никак не мог подняться над тайгой, только ревниво поводил серыми бровями: «Эй вы! Полунощники!»

В щель колоды свисал плетью черный жгут.

– Это ее коса… Шаманки-то…

– Черная какая!

Голоса их казались чужими, словно звучали из-под корней тайги. Взглянули друг на друга: лица бледно-зеленые, как у мертвых. Прохор ощутил в груди щемящий холодок.

Вдруг, внезапно вскрикнув, они кинулись прочь. Жуткий страх мчал их через тьму и непролазную трущобу, как белым днем по широкой степи.

Шитик бестолково резал воду, белые весла судорожно взмахивали, хлопали, словно окоченевшие руки утопающего. А вслед несся из тайги свирепый свист. Но Прохор, опамятовавшись, понял наконец, что это из его собственной груди вылетает со свистом воздух. Он бросил весла и отер со лба холодный пот. Обоим было до смерти стыдно. Избегали смотреть друг другу в глаза и, не перемолвившись словом, оба повалились спать.

Сон Прохора неспокойный, огненный. Красное-красное – кровь. Земля красная, небо красное, красная тунгуска в кумачах, шаманка: «Бойе[1], друг, обними меня!.. Ну, крепче, крепче!» Истомно, жарко Прохору, сладостно. И слышит он голос: «Вставай, Прошка… Время!»

Прохор проснулся. Ибрагим трясет его за плечо и смотрит строгими глазами ласково.

Утро было погожее, ясное. Шитик шел медленно. Река текла с ленивой негой, словно еще не пробудилась от зеленых грез.

Стали попадаться взгорки. Вдали маячила обнаженная грудь скалы. Голосила ранняя кукушка, влюбленно кричали утки в камышах.

– Ты чего вчера испугался? – тихо спросил Прохор.

– А ты?

– Я, на тебя глядя, побежал.

– А я, паря, на тебя.

Оба улыбнулись и замолкли. Река круто повернула вправо, навстречу солнцу. Вода заблестела, как расплавленный металл. Прохор зажмурился.

– Мне послышалось, будто колодина затрещала. С шаманкой-то… Как хрустнет! – сказал Фарков.

Прохор, щурясь, взглянул на него удивленно:

– А я слышал голос тунгуски: «Бойе, друг, обними меня!..» Ясно так, ясно.

– Врешь?! – И лицо Фаркова вытянулось, глаза стали серьезными. – Точь-в-точь как тому солдатишке… Точь-в-точь. – Он, крадучись, перекрестился.

– Ты что? Может, лешатика видышь?! Мордам крестишь?! – крикнул Ибрагим.

– Нет, – ответил Фарков. – Сегодня година моей бабушке…

Прохор задумался. Сон и волшебная явь встревожили его. Где-то вдали печаловалась иволга. Прохор вздохнул.

– Нэ надо голову вешать! Надо прамо! – бодро проговорил Ибрагим.

– А вот скоро работа будет… Не заскучаешь, – сказал Фарков. – Чу, как шумит… Это называется Ереминский порог.

Действительно, лишь повернули прочь от солнца, послышался шум, как отдаленный шелест леса. Течение становилось все слабее и слабее, а шум порога возрастал, и, после нескольких изгибней реки, быстрая волна вдруг подхватила шитик.

– Правей!! – кричал Фарков, его голос сливался с шумом. – Нешто не видишь?!

Ибрагим со всех сил навалился на весло и стиснул зубы, а шитик, застряв на камне носом, стал поперек реки и накренился. Фарков соскочил в воду. Вода не доходила до колен. Фарков взял наметку и, борясь с течением, пошагал от берега к берегу, измеряя глубину. Он что-то прокричал, махнул рукой, опять прокричал, но говор воды дробил и путал звуки.

– Нет ходу, – сказал он, приблизившись. – Скидывай, Ибрагим, штаны… Давай глубь искать.

Пошли оба щупать воду, а Прохор стал зачерчивать в книжку положение порога. Но лишь он отвлекался от работы, как в его воображении вставал печальный образ Тани, а в душе вновь оживало чувство одиночества. Почему Ибрагим таким зверем заорал на него, когда Прохор хотел взять с собою Таню? Осел. Как он смеет!

Но вот, словно одуванчик под порывом вихря, развеялся образ Тани, и вместо грустного, в слезах лица – задорная улыбка, бисер, колдовские кумачи: «Бойе, друг!..» Прохор раздражительно отмахивается и долго, с любопытством смотрит в воду: струи быстро мчат под ним, извиваясь меж камней. У него рябит в глазах. Он переводит взгляд на берег, и все, что видит перед собою, все движется, плывет, плывет: кусты боярки и калины, зеленый луг, тихая тайга –

[1] Бойе – друг, приятель.

все подхвачено обманчивым потоком, и – что за черт! – опять тунгуска в красных кумачах извивно крутится в удалом танце, манит Прохора к себе и исчезает в зарослях вновь остановившегося леса. Прохор хмуро улыбнулся: «Чертовка! Ну, погоди, я тебя поймаю, да не мертвую, а живую сграбастаю!» Взбаламученная кровь бьет в мозг, солнце насыщает тело трепетным волнением; хочется любить, хочется перецеловать всех девок.

– Эге-е-ей! Прошка! Сюда…

Прохор проворно сбрасывает с себя одежду, обувается в сапоги, чтобы удобней было идти по каменистому дну, и сходит в воду. Стрежень валит его с ног, он падает на четвереньки, – ух! – подымается, вновь падает, хохочет. Камни круглы, скользки, как голова тюленя, вода бурлит. Прохор неуклюже взмахивает руками и, словно неопытный канатоходец, ловит моменты равновесия. Фарков то и дело выскакивал на берег, ломал ветки ивняка и втыкал их меж камней порога, обозначая будущий путь шитика. Саженях в ста от Прохора лежали две воды: шумно бурлящая, рябая и, дальше, – тихая, застеклелая, вся в солнечном пожаре. Грань этих вод – предел порога. Ибрагим ворочал в воде камни. Прохору показалось издали, что все коренастое тело черкеса, в особенности руки и спина, испещрено темными полосами: «Татуировка», – подумал он, но, когда подошел к черкесу вплотную, удивился:

– Вот так тело у тебя, Ибрагим!.. Как у борца… Должно быть, силенка есть.

– Мало-мало есть. – Ибрагим нагнулся и поднял над головой круглый, в несколько пудов камнище; выпуклые, резко очерченные мускулы под смуглой кожей заиграли, напряглись и, словно вылепленные из глины, вдруг застыли, настороженно карауля волю господина.

– Цх!.. – И камень, опоясав воздух черною дугою, далеко бухнул в воду.

– Урра!.. – закричал от восторга Прохор.

– Чего орешь, работай!..

Прохор принялся за дело. С юношеским жаром ворочал камни, прокладывая путь.

– Корягу видишь? Вали на нее… Прямо! Саженев через десять будет глыбь.

Работа кипела. Фарков был уже на шитике и выводил его на стрежень. Обратно Прохор шагал рядом с Ибрагимом.

– Заколел, Прошка, замерз? Надо спирт проглотить…

Уловив в голосе Ибрагима ласку, Прохор сказал:

– Ты на меня не злись. Я тебя люблю.

– Мы тоже любим. Ничего, молодца, Прошка. Джигит!

– С тобой, Ибрагим, не страшно… Ты сильный.

– Кынжал сильный… Ибрагишка верный, верней собаки…

Сели усталые, продрогшие. Шитик летел по порогу уверенно, сшибая носом расставленные вехи…

– Слава тебе господи! – облегченно сказал Фарков. – Одно дерьмо прошли.

– А дальше?

– Горя хватим много. Ух, много, братцы! Угрюм-река – она свирепая.

8

Петр Данилыч Громов развернулся вовсю. Катил сквозь жизнь на тройке вскачь. Тройка – на лешевых подковах, и куда мчалась она – Петра Данилыча не интересовало. По кочкам, по сугробам, в пропасть – все равно, лишь бы свистал в ушах веселый ветер, лишь бы хохотало и звенело в голове.

Впрочем, занимался Петр Данилыч и делами по хозяйству. Расширил торговлю, красного товару привез на десяти возах и посадил в лавку доверенным приказчика Илью Сохатых. Открыл в тайге смолокуренный завод и еще бросился в кой-какие предприятия. Но за всем этим досматривал он плохо, дело култыхалось через пень-колоду.

Марья Кирилловна завела большое молочное хозяйство и так захлопоталась, что некогда было и замечать ей шашни своего мужа. Тот политику свою сначала вел довольно тонко: уедет на охоту, а сам – к Анфисе, соберется за артелью дровосеков досмотреть, а сам – к Анфисе. Птицы, звери благодаренье небу шлют, дровосеки лодыря гоняют, доверенный Илья Сохатых шелковые полушалки, серебряные денежки нечаянно в карман сует. А хозяин из бутылки буль-буль-буль да – к своей Анфисе.

Илья Сохатых – рыжий, кудреватый, лицо в густых веснушках, отчего малый издали кажется румяным; на самом же деле он тощ и хвор, но до женского пола падок. По селу он – первый франт: всегда в воротничках, в манжетах, в ярких галстуках, набалдашник тросточки тоже не из скромных, портсигар снаружи совсем приличный, а откроешь крышку – там черт знает что: даже отец Ипат, увидавши, сплюнул. Имел еще Илья Сохатых дюжины две зазорных карточек – парни на вечерах хватались за животики, а девушки поднимали благопристойный визг: «Ах, охальник! Тьфу ты!..» – но глаза их горели шаловливо и льнули украдкой к запрещенному плоду.

Илья Сохатых любил крепко надушиться дешевыми духами, от него за три версты несло укропом и чесноком. Перстни, запонки, булавки играли фальшивым стеклянным цветом, часы и цепь накладного золота сияли. Вся эта «цивилизация» – он любил ушибить головы парней и девушек мудреным словом – была им усвоена в уездном городе, откуда добыл его Петр Данилыч Громов, прельстив порядочным окладом и вольготной жизнью.

Девки только им и бредили, а самые пригожие были на ножах друг с другом: каждой он клялся и божился, что любит лишь ее одну. Иным разом так далеко заходила девья пря, что соперницы, зарвавшись, при всем народе провирались про свои любовные услады: со мной там-то, а со мной вот там-то, а потом, придя в рассудок, горько плакали, кололи болтливые языки булавками, да уж не воротишь.

Мужние жены – молодицы – также не уступали девкам и считали превеликой честью провести с ним ворованную ночь где-нибудь у гремучего ручья, под духмяным кустом расцветающей боярки.

Илья Сохатых принимал все ласки как нечто должное, и хотя отощал, словно мартовский гуляка-кот, но амурные успехи он относил исключительно к своей неотразимой, по его мнению, наружности. И в конце концов так возгордился, что дерзнул облагодетельствовать своей пленительной любовью и Анфису.

Он приступил к этому с сердечным трепетом и нервной дрожью, как боевой, видавший виды конь. Анфиса казалась ему неприступной. Да и хозяин… О, хозяин сразу оторвет ему башку! Но Илья Сохатых весь проникся мужеством. Завладеть Анфисиным сердцем во что бы то ни стало – вот цель его жизни. Итак, смело в бой, к победе!

Подкрутив колечком усики, взбив кок в кудрях, Илья Сохатых направился сумеречным вечером ко двору красотки.

– Никто не видал? – спросила та, открывая дверь. – Ты стучи в калитку – раз-раз! – тогда буду знать, что ты… Понял? А хозяин где? Уехал?

Домишко у Анфисы маленький, плохой, но рядом рубился, иждивением Петра Данилыча, новый дом – скоро новоселье.

Анфиса накрывала стол, ставила самовар. Илья вытащил из кармана бутылку рябиновой и сверток саратовской сарпинки:

– Дозвольте прикинуть. Кажись, к лицу… Анфиса стояла высокая, поджав алые губы; глаза ее полны холодной насмешки, Илья петушком плясал возле нее и все норовил, примеряя отрез сарпинки, крепче прижаться к соблазнительной Анфисиной груди.

– Кажись, к лицу-с…

Та щелкнула его по блудливой руке, отстранила подарок:

– Не надо. Не нуждаюсь.

– Ах, Анфиса Петровна!.. Это даже огорчительно… Вас, наверное, по всем швам хозяин задарил.

– А тебе какое дело? Да и тебя мне не надо. Ну на что ты мне?.. А, Илюша?

– Ну как это можно. Женщина, можно сказать, во цвете лет… В поэтичном одиночестве. И все такое…

За чаем Илья врал, рассказывал анекдоты про монахов, Анфиса хохотала, отмахивалась, затыкала уши.

– Дурак ты какой!.. И за что тебя девки любят? А, Илюша? Рябой, курносый, чахоточный, чисто овечья смерть.

– А вот вы когда меня полюбите? – спросил он, нервно кусая губы.

– Никогда.

– Неправда ваша… Могу сейчас доказать-с…

Он подкрутил усы колечком, утер лицо надушенным шелковым платком, и глаза его из масленых стали умоляющими.

– Анфиса Петровна, ангел! Ну, один только поцелуйчик… в щечку, Анфиса Петровна?

Но та хохотала по-холодному.

– Это мучительство. Как вы не понимаете? Я усиленно страдаю…

– Дурак ты, вот и страдаешь. – Лицо Анфисы вдруг стало ледяным, она словно студеной водой плеснула на распалившееся мужское сердце, и Илья, окутанный внезапным паром страсти, бросился и Анфисе и жадно схватил ее за талию.

– Голубочка! Пшеничка!.. Пощадите мой нервоз…

Вдруг в завешенное окошко кто-то постучал.

– Сам! – в один голос прошептали оба. Со страху у приказчика даже веснушки побелели. Он заметался.

– Полезай в подполье, да проворней. Убьет… Ну!..

Она прихлопнула за ним тяжелую западню в полу и поперхнулась шаловливым смехом. Стучали в калитку. Анфиса отперла.

В белой фуражке, высоких сапогах, поддевке вошел Петр Данилыч. Он оправил густые усы.

– Страсть сладка, чертовка… А что это накурено? Гости были? А?

– Я сама.

– Сама? Давно ли куришь? На-ка, покури…

Она курнула и закашлялась.

– Крепкая очень.

– Крепкая? – Петр Данилыч засмеялся, снял фуражку. – А я сам-то нешто не крепкий? Эвота какой!.. Грудь-то, кулаки-то…

– Богатырь, – улыбнулась Анфиса. Густые, льняного цвета волосы ее закручены сзади тугим узлом, малиновые губы полуоткрыты.

Он поймал ее белые руки, притянул к себе. Она села к нему на колени. Под полом послышалась неспокойная возня. Петр Данилыч насторожился.

– Это кот, – сказала Анфиса, засмеялась, словно серебро рассыпала.

Илья Сохатых замер. Будь проклято это низенькое подполье! Он сидел скорчившись на какой-то деревянной штуке между двух огромных кадок и вдруг почувствовал, что его новые брюки из серого трико в полоску начали сзади промокать. Он вскочил и резко ударился – черт его возьми! – теменем в потолок. «Слава богу, кажется, не слышали, сошло». Тогда он освидетельствовал дрожащей рукой то, на чем сидел.

– Извольте радоваться… Грибы соленые, рыжики!.. – Он возмущенно засопел и сплюнул.

Он теперь стоял, согнувшись в три погибели, упираясь напомаженным затылком в покрытый плесенью половой настил, и раздумывал, как бы ему поудобнее примоститься. Его ухо ловило глухой, сочившийся в щель говор.

– Знаешь, кто у меня в подполье-то? Любовник… – сказала Анфиса и фальшиво рассмеялась.

– Любовник?! – сердито переспросил хозяин, и половицы заскрипели.

У Ильи Сохатых обессилели ноги, и он снова сел в грибы.

– Стой, куда! – крикнула Анфиса. – А ты и поверил? Эх, ты!

Илья Сохатых облегченно вздохнул, осенил себя крестом.

Петр Данилыч что-то невнятно пробурчал. Потом замолчали надолго. Золотая щель в полу померкла – видно, загасили свет.

«От ревности меня может паралич разбить, – злобно подумал Илья; сердце колотилось в нем до боли. – Тоже называется купец… От собственного приказчика красотку отбивает… Эксплуататор, черт!» Он пощупал карманы. «Эх, спички остались там!» А надо бы переменить место, но он боялся пошевельнуться и терпеливо ждал. Накатывалась густая сизая дрема. Он заснул, клюнул носом и очнулся. Тихо. Страшно захотелось есть. Он ощупал кадку: капуста. Он ощупал другую: «Очень просто, огурцы!..» Вытащил ядреный огурец и с аппетитом съел.

– Свежепросольный, – тихонько сказал он вслух. Повыше подобрал манжет и вновь запустил руку в кадушку. Огурец попался великолепный. Съел.

– Эй ты, мученик! Да ты, никак, уснул?

– Ничего подобного! – перекосив рот и щурясь от света, крикнул Илья Сохатых и быстро покинул свою тюрьму.

– Да ты не ори, молодчик! – Голос Анфисы серьезен, но грудь тряслась от сдерживаемого смеха. – Будешь фордыбачить – вышвырну.

С чувством большой досады и ревнивой горечи Илья проговорил:

– Вы мне большой убыток причинили. Новый жакетный костюм… На что он теперь похож? А?

Анфиса молчала.

– И вот, на основании вашего легкого поведения, я битых три часа в соленых грибах сидел, в кадушке.

Анфиса ударила себя по бедрам, раскатилась хохотом. На глазах Ильи мгновенно выступили слезы, он бросился к ней с сжатыми кулаками, но она сгребла его в охапку и, все еще продолжая хохотать, звонко поцеловала в потный лоб.

Илья забыл про все на свете.

– Анфисочка!.. Цветочек!..

– Стой, стой, стой! – Она усадила его к столу. – Давай кутить.

Петр Данилыч жил по-русски, попросту: стол у него незатейливый, крестьянский: любил простоквашу, баранину, жирные с наваром щи. Одевался без форсу, просто; в запойное время пил до потери сознания, исключительно водку. Человек без широкого размаха, он решительно не знал, куда ему тратить в этой глуши деньги. Пожертвовал в церковь, выстроил дом Анфисе, завел себе и ей обстановку, ковры, часы, узорчатые самовары. А дальше что? Эх, закатиться бы в Москву! Но крылья у него куриные, да и лета не те.

Все-таки за три-четыре месяца он успел проспиртоваться основательно: нос стал красный, лицо опухло, во сне пальцы на руках плясали, всего подергивало. А когда увидал двух мелких чертенят, сидевших, как два зайца, на шкафу, твердо решил: «Надо сделать перерыв».

Два дня отпивался квасом, ел капусту и на третий уехал верст за пятьдесят в тайгу. Даже с Анфисой не простился.

9

Средина лета. Путники загорели, как арабы. У Прохора три раза слезала с носу кожа.

Плыть весело, и погода стояла на диво. Вставали с зарей. Пока Прохор купался, Ибрагим жарил шашлык. Фарков возился с ведерным чайником. Подкрепившись, бодрые, пускались в дорогу, и уж в пути их встречал солнечный восход.

Вторую неделю весь воздух был насыщен дымом; где-то горела тайга. Солнце стояло большое, кровавое, как докрасна накаленный медный шар. Резкие тона и очертания в ландшафте сгладились, расстояние стало обманчивым, неверным: близкое стало далеким, далекое приблизилось вплотную. Воздух был неподвижен. Сквозь молочно-голубую дымку мутно голубело все кругом: лес, скалы, острова – все тускло, призрачно.

– Ибрагим, как все-таки хорошо… А?

– Вздыху нет. Глаза ест… Худо, Прошка!

Ибрагим сидел теперь в гребях, Фарков на руле: река все еще мелка, а ходовая бороздка извилиста, лукава. Вот глубокое плесо. Фарков говорит:

– Прохор Петрович, у вас есть наживка? Надо к обеду рыбы наловить.

Прохор подает ему коробочку, наполненную слепнями, и прихлопывает у себя на колене еще двух слепней.

– Черт, сколько их!

У Фаркова пара удочек. Один за другим беспрерывно шлепаются в лодку золотистые караси.

– Жирнущие, – радуется Фарков и через пять минут заявляет: – Ну, теперича довольно.

Прохор привык к щедрым дарам Угрюм-реки и не удивляется. Он глядит на часы – время обедать. Присматривает удобное место и командует:

– Фарков, к берегу!

– Подале бы, Прохор Петрович, – слабо возражает тот, – деревня скоро.

Прохор чувствует, что дал маху: конечно, в деревне остановиться на отдых лучше: яйца, молоко, ватрушки, но раз сказал – сказал.

– Ты слышал?

Фарков ослушаться не смеет.

Уха очень жирная, каша крутая, с маслом, сухарей изобилие, и чай пьют до седьмого пота. Ибрагим среди обеда расстегивает на штанах все пуговки, сбрасывает подтяжки и самодовольно рыгает.

– Что, Ибрагим, наелся?

– Нэт.

Глаза его горят, как у волка, потом затуманиваются; круглая ложка проворно шмыгает из котла да в рот, наконец он еще громче рыгает и, опьянев от еды, ползет на карачках в тень всхрапнуть.

Прохору и Фаркову спать не хочется, Фарков лежит на спине, рассказывает о Даниловской сопке, что миновали вчерашний день. В ней есть пещера, где в недавние времена жил огненный змей. Днем его нету, но лишь наступает вечерний час, словно полымем осияет небо – мчится змей. Много крещеных он украл, все больше молодых баб да девок. Жил с ними, до смерти замучивал. А одна, сказывают, родила от него девку-шаманку, ту самую, что Антипа уморила.

– Неужто?!

– Да уж я не стану врать. А вот на этом самом месте, где мы лежим с тобой, мужик бабе нос отгрыз. Сначала за косы трепал, а тут отгрыз и выплюнул… Не нарушай венца…

Вдруг вода заплескалась где-то близко, и – гортанный крик:

– Тяни, тяни-и-и!

Хлопают весла по воде, шуршит под ногами галька. Прохор пристально посмотрел в ту сторону: молочно-голубая сказочная мгла скрывала все. Но вот еще немного, и высунулось из дымного тумана почти рядом с Прохором какое-то мглистое чудовище; оно, как неясный призрак, медленно скользило по воде.

– Ну, черти! Тяни, тяни!

Большой шитик. Его тянут на лямках против течения пятеро, шестой маячит у руля, седьмой на носу с багром: он отталкивает судно от встречных камней и карч.

– Ну, черти, ну!.. Так твою в тартынку! Ну!

Пятеро заходят выше пояса в воду и, напрягая остатки сил, буровят грузный шитик.

– Давай, давай, давай! – залпом несутся гнусавый окрик и крепкая оскорбительная брань.

– Это купчишка тутошний, торгаш, из армян. Уголовный он, – сказал Фарков. – Ужо я его покличу. По шее бы ему накласть. Самый мазурик.

На шитике навалены горой лосиные, скупленные у тунгусов, шкуры, на шкурах – три пуховые подушки; на подушках, как Будда в облаках, важно восседал боровообразный, весь заплывший салом человек. Над ним, бросая тень, колыхался балдахином большой белый зонт:

– Чего встали? Эй ты, рыжий! Тяни, тяни!.. Веревки вот-вот лопнут, они глубоко впились в согнутые спины батраков. Изнывая от жары и напряжения, люди надсадно дышат, словно запаленные, больные кони.

– Аганес Агабабыч! – крикнул Фарков, приподымаясь. – Вот имечко-то чертово, язык сломаешь, – сказал он Прохору. – Политики его тянут, царские преступники. Аганес Агабабыч, слышь!..

– Кто такие? – отозвалась копна.

– Жители. Тут человек с тобой желает перемолвиться, купецкий сын.

– А-а-а, – протянул торговый и загнусил: – Эй, вы! К берегу… Выбирай постромки, подтягивай бурундучную… К берегу, так вашу в тартынку!..

К Прохору подкатился на коротких ногах-бутылках шарообразный, в два обхвата, человек: он пыхтел, сопел, обливался потом, мокрая его рубаха расстегнута, рукава засучены, грудь и руки в густой, как у медведя, шерсти.

– Здрасте вам, – он протянул Прохору пухлую ладонь-подушку. – Откудова? – Говор его не русский, гортанный.

Прохор назвал себя, с интересом рассматривая рыхлую копну на ножках, нескладно обмотанную сукном и ситцем. Торгаш сел по-турецки на землю, спросил:

– Что тебе здэсь надыть? Зачем едешь? Может, торговлю желаишь заводить? – Торгаш засопел, запыхтел, продул ноздри и, покачивая круглой бритой головой, гнусаво стал кричать: – На-а-прасно! Здэсь пропадешь… Народ – сволочь, все норовит в долг без отдачи. Порадка нэт, управы нэт, чисто разор! Тунгусишки – зверье, орда, того гляди зарэжут… Ой, не советую! Ой-ой!..

– Чего зря врешь, Аганес Агабабыч, – не стерпел стоявший у костра Фарков. – У нас народ хороший. А ты ведь, как клещ, впился – ишь брюшину какую насосал…

– Что-что-что? – Сидевшая в песке копна заработала пятками и грузно повернулась вокруг своей оси к Фаркову. – Что? Клещ? Я клещ?!

– А приплывем ли мы до заморозков в Крайск? – спросил Прохор с волнением.

Вновь заработали пятки, и копна с великим сопеньем повернулась лицом к нему:

– Хо-хо! Нэт!.. Ты что? Поворачивай-ка назад скорей… Ты знаешь, сколько верстов? Три тыщи верстов отсюда. А река, о-го! Прямо смерть.

Прохор кивнул на сидевших в стороне рабочих и спросил:

– А это кто такие?

– Политики… Смутьяни… Ссылка… Дрянь. Я их – во!..

– Почему дрянь? – вопросительно взглянул Прохор в его заплывшие свинячьи глазки.

– А как! Против цара, против порадку, против капиталу? Пускай-ка они, сукины дети, на себе теперича меня повозят, пускай лямку потрут… Ха-ха-ха… Я их – во! – Он вскинул мохнатый кулак и покачал им в воздухе.

– Да ты и весь народ рад – во! – сказал Фарков, горевший нетерпением сцепиться с ним.

– Что-что-что? – повернулась вокруг оси, крикнула копна. – Эй, рыжий! Подай-ка сюда книжку! Вот посмотрим… Я знаю тебя, голубчика… Ты Фарков? Знаю… Ты мне больше сотни должен.

– Ни шиша я тебе не должен… Ты в десять раз дороже накладываешь против настоящего… Ты нас процентой задавил… Ты…

– Что-что-что?!

Прохор направился к политическим. Как-то в городе он ходил со знакомым студентом на сходку молодежи. Там были и политики. С жаром, справедливо говорили, пели, ругали начальство, порядки. Да как хлестко, как правильно! Прохору очень тогда все понравилось; он о многом расспрашивал студента, который дал ему кой-какие книжечки, правда, очень непонятные и скучные.

Прохор кое-как перечитал их и возвратил, ничего почти не запомнив.

– Здравствуйте!

Все посмотрели на его высокую фигуру, на гордо поднятую голову с зоркими глазами. Прохор протянул им портсигар. Закурили.

– И охота вам этого черта на себе тащить, – начал Прохор, – пристукнули бы его где-нибудь.

Все ласково улыбнулись, а тот, что в шляпе, сказал, вздохнув:

– Если начнешь пухнуть с голоду, на все согласишься. Чалдоны на работу не берут, да мы и не можем: тайгу корчевать да новину распахивать где ж нам.

Прохор взглянул на его бледное, в черной бороде, лицо, на белые, вспухшие от комариных укусов руки, к которым плохо приставал загар.

– Я, например, бухгалтер, а товарищ мой – фармацевт, – сказал другой, тщедушный, маленький, – а вот этот человек – юрист, известное дело, мы к мужичьему труду не приспособлены. А вам сколько лет, товарищ?

– Двадцать, – соврал Прохор, и все поверили ему. – Я тоже купец, – сказал он. – Может быть, сюда приеду работать… Но я дело иначе поведу.

Тот, что в шляпе, безнадежно махнул рукой, но все-таки полюбопытствовал:

– А как же?

– Прежде всего этого бегемота и всех мерзавцев, что грабят мужиков, в омуте утоплю… А потом…

В это время у куста страшно заорали:

– Жулик!!

– Нет, ты жулик!.. Вот кто!

Фарков стоял прямой, как столб, длинные его руки покачивались. Возле него подпрыгивал запыхавшийся толстяк и тыкал в его лицо раскрытой книжкой:

– Вот запись! На-на! В тюрьма!.. На поселенье!..

– Тьфу твоя запись! – свирепо плюнул Фарков на книжку.

Толстяк, припрыгнув, ударил Фаркова в подбородок, тот с размаху ткнул кулаком в тугое брюхо. Толстяк отпрыгнул, пригнул голову и, быстро крутя кулаками, двинулся, как вепрь, к противнику. Тот грохнул кулаком по жирной спинище, как по тесту, но тотчас же от хлесткого удара слетел с ног.

– Ага-а! Так твою в тартынку!!

Все слилось в ревущую неразбериху: вот меж ногами Фаркова хрипит и закатывает глаза налившаяся кровью голова армянина; вот сам Фарков, царапая скрюченными руками землю, юлит, как большой ящер, выползая из-под рухнувшей на него горы. Облаком взметнул песок, с хрустом шебаршит щебень; головни и горящие сучья, словно жар-птица, летят из костра куда попало.

– Довольно!! – во всю мочь вскричал Прохор и бросился их разнимать.

– Баста, – грузно поднялся толстяк, как свекла красный, и стал вправлять в штаны выбившуюся разодранную рубаху. – Будешь?!

Фарков молча схватил весло и опоясал толстяка по широкому седалищу. Звонкий, хлесткий, как пощечина, удар враз покрылся дружным смехом. Армянин схватился за вспыхнувший от удара зад, плюнул в Фаркова и скомандовал:

– Эй вы, к шитику! – И прокричал с подушек, потрясая распущенным зонтом: – В острог, сукин ты сын, в острог!! Есть свидетели!

Забурлила вода, захлюпали натруженные ноги, дальше, призрачней, и все потонуло в мутной синеве. Только слышалось: «Тяни-тяни!» – и терпкая, как турецкий перец, ругань.

Прохор долго грустно смотрел туда, где скрылся чертов призрак, потом подошел к потухшему костру. Фарков теплым чаем тщательно промывал подбитый в свалке глаз.

Вдруг в соседнем кусту зашевелилось – приподнялся Ибрагим и посмотрел на солнце.

– Никак проспали?

– Кто проспал-то? – засмеялся Прохор. – Тут целая война была… Неужто не слыхал?

– Чего врешь, – мрачно отозвался черкес. – Какой война?

– Вот так дрых! – крикнул Фарков. – Вишь, даже глаз мне подбить могли… Война и есть. Ведь тебя истоптали было. Кувыркались через тебя.

– Чего врешь! – Ибрагим насупил брови и сердито ворочал белками. – Мертвый я, что ли? – Большая лысина его сияла.

Прохор с Фарковым закатились хохотом.

Ибрагим икнул и хмуро потянулся к чайнику.

10

Август перевалил за середину. Северное лето шло к концу. Вода сделалась холодной, отливала сталью. На осине и прибрежных тальниках появились блеклые листы; они трепетали при ветре, как крылья желтых птиц. Удивительно прозрачный воздух делал картину отчетливой, ясной. Издали можно было видеть, как рдеют под солнцем гроздья рябины и боярки. Тишина стала чуткой, жадной до звуков. Крик далекой иволги звучал почти рядом с Прохором, слышно было, как крадется лиса сквозь чащу. Четко плыли в ночи монотонные рыданья сов. А ружейный выстрел напоминал громовой раскат; он долго гудел и рассыпался по граням гористых берегов.

Угрюм-река все еще продолжала быть капризной, несговорчивой. В ее природе – нечто дикое, коварное. Вот приветливо улыбнется она, откроет меж зеленых берегов узкое прямое плесо: «Плывите, дорогие гости, добрый путь!» – и шитик, сверкая веслами, беспечально движется в заманчивую даль. Но вдруг, за поворотом, нежданно расширит свое русло, станет непроходимо мелкой, быстрой. Стремительный поток подхватывает шитик и с предательским треском сажает на мель. А вода, шумно перекатываясь по усеянному булыжниками дну, издевательски хохочет над путниками, как ловкий шулер над простоватым игроком. Тогда путники, раздевшись, долго с проклятиями бродят по холодной воде, меряют глубину, ворочают булыги, пока не отыщут ход.

И снова тихое, улыбчивое плесо, и снова ему на смену непроходимый перекат или порог. Так изо дня в день. Шиверы, пороги, перекаты, запечки, осередыши.

А время шло не останавливаясь. Парус у времени крепок, пути извечны, предел ему – беспредельный в пространстве океан.

Ибрагим от раздраженья пожелтел; он скрежетал зубами и ругался, а белки выпуклых его глаз в минуты гнева наливались желчью. Прохор обкладывал Фаркова мужичьей бранью, словно тот был виноват во всем.

Ну и река? Что это за река? Перекат на перекате! Глупая какая-то!.. Столько времени теряем…

– Река бедовая, свирепая… Уж Бог создал ее так, – спокойно говорит Фарков. – Она все равно как человеческая жизнь: поди поймай ее. Поэтому называется: Угрюм-река. Точь-в-точь как жизнь людская. Да.

Однажды, перед тем как пуститься в путь, Фарков сказал, кивнув на реку на лысую, стоявшую вблизи берега сопку:

– Извольте посмотреть… Вот мы от этой сопки, значит, поплывем, будем плыть весь день, а к ночи, ежели благополучно, опять к ней, только с другого бока.

– Зачем?

– А так уж, значит матушка-река протекла, – поспешно стал пояснять Фарков. – На пути три огромадных загогулины делает она, по-нашему – три мега. Напетляла она тут верст семьдесят с гаком, а ежели прямо сухопутьем – полторы версты.

Ибрагим покрутил головой и плюнул.

Прохор высадился на противоположном берегу и, отпустив шитик, направился таежной целиной к сопке.

Вот он на плоской, как стол, безлесной вершине. Какая высь! Перед ним сразу открылись неоглядные просторы.

Был ранний час. Восток окрасился зарею, из-под земли, из таежных дебрей вздымался нежными лучами свет. Лицо тайги, приподнятое к небу, было темно-зеленое, угрюмое – ночные тени еще не сползли с него. Тихо. Воздух не шелохнется. Прохор слышит, как тикают его часы. На душе его неспокойно. Там, внизу, в обществе Ибрагима и Фаркова, он за последнее время все чаще и чаще стал замечать в себе тревогу; он ощущал ее смутно, неопределенно, будто невнятный предостерегающий чей-то шепот, но в работе всегда забывал о ней. А вот здесь, сейчас, наедине с собою, открытый всем четырем ветрам, Прохор вновь узнал эту назойливую гостью; она резко постучала в дверь его души, она замутила его сердце каким-то гнетущим предчувствием. Ему вспомнился отец, вспомнилась мать, плачущая горько и благословляющая его в опасный путь большим благословением: «Прошенька, голубчик мой… Да сохранит тебя Господь». В то время Прохор – юное, неискушенное дитя – только улыбнулся. Теперь же был у него за плечами опыт: трудный пройденный путь сулил впереди бесконечные лишенья. Скоро они останутся вдвоем с черкесом среди безлюдной неизведанной реки, скоро пойдут по воде туманы, а там и снег, зима. Что делать? Может быть, назад? И вот лишь в этот миг юноша ясно и отчетливо уразумел кровную тревогу своей матери: «Прошенька… Да сохранит тебя Господь».

Прохор это вспомнил, перечувствовал, не раз вздохнул. Так неужели впереди погибель? И пало в мысль желание усердно помолиться, попросить у Бога милости: да пошлет ангела-покровителя, да сделает путь его счастливым. С благоговением опустился он на покрытые росой каменные плиты, припал лицом к земле. Он усиленно морщил лоб, вздыхал, стараясь вызвать слезы, но кто-то мешал ему сосредоточиться; он плохо слышал слова молитвы, которые шептали его губы. «Ангел мой святый, хранителю души и тела моего…» Да, да… Это она, это они мешают обе – Таня и прекрасная шаманка. Греховно улыбаются, влекут его к себе… «Хранителю мой святый, вся ми прости, елико согреших словом, делом, помышлением…» Однако молитва не помогла: в душе хандра, развал.

Но вот в его глаза ударил новорожденный свет. И обманные призраки враз исчезли. Прохор быстро вскочил и закричал громко, торжественно, от всего сердца:

– Солнышко! Солнышко!

Свежими лучами брызнуло солнце в молодую душу, смятенья как не бывало.

– Здравствуй, солнышко! – Прохор больше ничего не мог сказать, его губы прыгали. Он чувствовал в этих живительных лучах крепкого помощника, душа его наполнилась надеждой и уверенностью.

– Ты и черкес… Вас двое… Ничего не боюсь я… Солнышко!

Дыхание Прохора сделалось ровным, неторопливым, кровь в сердце успокоилась: он вытер слезы и долго любовался расстилавшимися перед ним далями.

Прохладным, еще не разогревшимся костром солнце медленно всплывало в бледном небе, пологие лучи его вяло блуждали по шапкам леса, покрывавшим склоны и вершины гор. И все, что никло в дреме головой, теперь раскрывало глаза, пробуждалось.

Проснулся воздух, свежие ветерки взвихрились над тайгой, шелковым шорохом прошумели хвои осанну лучезарному властителю земли, и – вновь тишина. Только слышатся хорьканье игривой белки и гордый клекот орла. Белка беспечно скачет с сучка на сучок, распустив свой пушистый хвост; вот она облюбовала шишку с орехами, – господи благослови! – поест сейчас. Но орлиные когти до самого сердца вонзились в теплый ужаснувшийся комок, и бисерные глаза зверька навек закрылись.

Прохор вскинул ружье, и – бах! – орлиная голова слетела с легких плеч, и владыка птиц камнем рухнул в пропасть. Рявкнул медведь в логу; он поднял оскаленную морду на прозвучавший выстрел и отхаркнулся кровью оленя, которого он только что задрал у холодного ключа. И началось, и началось… Кровь, трепет, смерть во славу жизни. Железный закон вступил в свои права.

А солнце движется своей чредой… Какое ему дело, что творится где-то там, в земном ничтожном мире. Равнодушное, без злой воли, радости и гнева, оно все жарче, все сильней разжигает свой костер.

Прохор медлил уходить. Для взора все теперь стало отчетливо и ярко. Сверкала Угрюм-река. Она казалась отсюда тихим извивным ручейком. «Что это чернеет на ней маленькой козявкой? Неужели шитик?»

Внизу, недалеко от подножья сопки, вьется тонкая струйка голубого дыма.

«Ага, тунгусское стойбище».

На ярко-зеленой, облитой солнцем поляне торчали тремя маленькими бурыми колпаками три остроконечных чума.

Прохор закурил папиросу и торопливо стал спускаться с сопки. Он много слышал от Фаркова об этих лесных людях – тунгусах, но ни разу не видал их вплотную. Прохору начали попадаться олени. Крепкие, красивые, с раскидистыми рогами, – шерсть лоснилась под солнцем, черные глаза блестели. А некоторые были облезлые, новая шерсть еще не отросла, они прихрамывали; на ногах, повыше копыт, гасились раны, в которых кишели белые черви.

– А-а, люча[2], прибежаль русак! Здраста, бойе.

Мелкими шажками, приминая белый кудрявый мох, подходил к нему старик тунгус.

– Здраста! – проговорил он гортанным голосом и потряс протянутую руку Прохора. – Как попаль, бойе? Торговый, нет? Огненный вода есть, нет? Порох, дробь, цакар, чай? А? – Старик прищурил раскосые узенькие глаза и улыбнулся всем своим безволосым, в мелких морщинах, лицом.

[2] Люча – русский.

– Айда! – махнул рукой тунгус, и они пошли. Тонкие стройные ноги старика в замшевых длинных унтах четко отбивали быстрые шаги.

– Куда, бойе, низ бежишь на шитике? – спросил тунгус, когда вышли на берег.

– В Крайск, старик, в Крайск. Доплывем? Тунгус удивленно посмотрел на него и потряс головой:

– Нет. Сдохнешь.

Прохор начал возражать, горячо заспорил, но тунгус стоял на своем:

– Совсем твоя дурак… Зима скоро… Шибко далеко, бойе. Боро-ни-и-и Бог!

В стойбище жили три семьи. Пылал огромный костер – гуливун, возле него суетились бабы, старые и молодые; они стряпали, варили в котлах мясо. Сухопарый тунгус в грязнейшей рубахе и с длинной черной, как у китайца, косой ссекал с мертвой оленьей головы рога. В стороне сидела жирная старуха с голой, неимоверно грязной грудью. Она скребла острым скребком растянутую оленью шкуру, выделывая из нее замшу – ровдугу. Возле нее стояло сплетенное из бересты и обмазанное глиной большое корыто, доверху наполненное прокисшей человеческой мочой, в которой дубилась кожа. Старуха все время что-то бурчала себе под нос толстым голосом и страшно потела от усилий.

– Э, бойе!.. Э!.. – Она не умела говорить по-русски, но Прохор понял, что она просит ружье. Глаза ее вспыхнули. Старик тунгус, все время не покидавший Прохора, сказал ему:

– Это мой баба… Шибко хорошо стреляет… медведя бил, самого амикана-батюшку… Шибко много… Борони-и-и бог! Вот слепился… Мало-мало кудой глаз стал…

Старуха вертела в руках ружье, прищелкивала языком, вскидывала на прицел: «бух-бух!» – и радовалась, как ребенок. Над небольшим костром у чума суетилась в работе молодая женщина. Ей жарко – солнце припекало не на шутку, – она по пояс нагая, только грудь кой-как прикрыта сизым халми[3], вышитым бисером и отороченным лисьим мехом.

В разговорах со стариком Прохор воровским взглядом ощупывал стройную фигуру женщины – от черных с синим отливом волос до маленьких босых, покрытых грязью ступней.

– Это мой дочка… – сказал старик. – Мужик сдох, околел маленько. Одна осталась. Больно худо… совсем худо. Мальчишку надо, а не рожает… – И голос старика стал грустным. – Я богатый: много олень, пушнина, да то, да се… Умру, кто хозяин? Ой, шибко мальчишку надо, внука. Вот останься, бойе, поживи мало-мало. Она шибко жарко обнимат, хе-хе-хе… Борони бог как! Рази кудой баба? А? Оставайся, любись. Родит мальчишку, уйдешь тогда…

Прохор сконфузился. Молодая вдова, видимо, понимала по-русски. Она кокетливо изогнула свой тонкий стан, отчего бисерный передник приподнялся, и украдкой улыбнулась Прохору.

– Какой тебе год? Двасать пьять будет? – спросил старик.

– Нет, семнадцать, – смутился Прохор.

– Ей-бог? Тогда не нужно… Семнасать – чего тут… Тьфу твоя дело! – запыхтел старик.

Прохор покраснел. Тунгуска выпрямилась, опустила глаза, что-то сказала тихо и вздохнула.

– Может, на шитике шибко большой мужик есть? А? – сюсюкал гортанным голосом старик. – Шибко надо…

Четыре девочки с любопытством разглядывали Прохора, шептались, тыча по направлению к нему пальцами, на которых белели серебряные кольца. Потом вдруг все засмеялись, словно защебетала веселая стая птиц, и кинулись навстречу высокой молодой девушке.

– Другой дочка, – сказал старик. – Шибко молодой… Шибко сладкой. Ну-ка, гляди-ка…

Прохор поклонился ей, сняв шляпу. Но девушка, направляясь с ведром к реке, прошла молча, даже не взглянула на него. Ее гордо поднятая голова была в ярко-зеленом тюрбане, отте-

[3] Халми – кожаный нагрудник.

нявшем смуглый румянец ее щек. Оранжево-огненный кафтан с красными широкими полосами по борту и подолу плотно облегал гибкую талию; позванивали и блестели серебряные украшения на груди и чеканные браслеты, охватившие запястья тонких рук. А ноги – в цветистых, сплошь шитых бисером сапогах.

Двигалась девушка быстро, чуть подрагивая бедрами, и рдела под солнцем в своем оранжевом кафтане, как столб пламени.

У Прохора замерло сердце. Он прошептал: «Вот так красавица!..» Ему захотелось догнать ее.

Старик хлопнул Прохора по плечу, скрипуче засмеялся и прищелкнул языком:

– Скусна! Вот женись!.. Оставайся: тайгам гулять будешь, амикана-дедушку промышлять, белковать будешь… А? Все тебе отдам, всех оленей, на!

– Вот года через два приеду, женюсь, – улыбнулся Прохор.

Старик безнадежно засвистал.

– Сейчас женись! Чего ты… – И голос его стал серьезным. – Два года двасать местов будем, не найдешь… Мой сидеть не любит, тайгам гулял, все смотрел… Чего ты! А девка – самый скус!.. О-о, какой девка!.. Не дай бог. – Старик почмокал и сглотнул, потом потащил Прохора в тайгу. – Вот пойдем, оленей глядеть будем, козяйство… Женись, бойе, женись… Верно толкую, чего ты!

И крикнул:

– Эй, бабы!.. Жрать скорей работай! Гость угощать надо… Шибко скорей!..

Ночь надвигалась тихая, звездная. Прохор лежал возле костра на берегу, поджидал запоздавший шитик. От нечего делать он просматривал записи в своей книжке. Старик тунгус сообщил ему много любопытных сведений. Он знает теперь, где кочуют тунгусы и куда выходят они зимой, чтоб обменять богатый зверовой улов на ничтожную подачку от русских торгашей-грабителей. Прохор приедет сюда и все устроит по-иному: пусть вздохнет свободно этот гостеприимный, ласковый народ. Или вот еще: та сопка, на вершине которой он был утром, оказывается, имеет в себе медь. В его руках кусок металла, найденного стариком в каменном обрыве сопки. Старик проговорился также и про золото; тунгусы знают, где оно родится, но не хотят сказать, а то придут, мол, русские и повыживут из тайги все их племя. Нет, лучше пусть лежит в земле!

Конечно, Прохор будет здесь работать, проложит широкие дороги, оживит этот мертвый край, разделает поля, а главное – схватит вот этими руками реку и выправит ее всю, как тугие кольца огромного удава. Обязательно, обязательно все будет так. Прохор Громов только начинает свою жизнь. О, погодите!

Лицо юноши в эту минуту казалось суровым, меж бровями легли глубокие складки, и старческие приблудыши-морщины протянулись от углов губ.

А все-таки как хороша эта девушка! Вдруг он женится на ней… Мать, наверное, согласилась бы, а вот отец… Во всяком разе – вернется домой – поговорит. Ну и чудак этот старик тунгус. Славный старик, хороший. Разыскал спирту, напился пьян, угостил Прохора и все уговаривал его остаться в тайге, с его дочкой. Хвалил ее на все лады, а подвыпив, строго приказал дочке раздеться: пусть бойе посмотрит, это ничего, надо показывать товар лицом. Пусть. Когда старик стал кричать на девушку и махать кулаками, та с хохотом выбежала вон и больше не возвращалась. А старуха ударила его в лоб замазанной тестом ложкой, – старик заплакал, лег возле костра и, свернувшись калачом, тотчас же уснул.

Лицо Прохора вновь стало юным. Он лежал, закрыв глаза, на губах улыбка. А думы безудержно уносили его все дальше, дальше.

Тишина. Всплескивают весла. «Должно быть, шитик». Нет, это камыши шумят. Нет, соболь крадется к задремавшей птице.

– Бойе… Проснись, бойе…

Прохор открыл глаза. Склонившись над ним, сидела девушка. Маленькие яркие губы ее улыбались, а прекрасные глаза были полны слез.

– Значит, хочешь уйти, покинуть?

– Да, хочу… – сказал Прохор, и ему стало жаль девушку. – А может быть, останусь. Поплывем с нами.

– Нет, нельзя… Я в тайге лежу. Меня караулят.

– Что значит – лежу? Кто тебя караулит?

– Шайтаны, – сказала она и засмеялась печальным смехом. – Еще караулит отец. – Она совсем, совсем хорошо говорила по-русски, и голос ее был нежный, воркующий.

Прохору лень подниматься. Он взял ее маленькую руку и погладил.

– Как тебя звать?

– Синильга. Когда я родилась, отец вышел из чума и увидал снег. Так и назвали Синильга, значит – снег… Такая у тунгусов вера…

Звезд на небе было много. Но самоцветных бусинок на костюме девушки еще больше. Прохор ласково провел рукой по нагруднику-халми. Грудь девушки всколыхнулась. Девушка откинула бисерный халми и прижала руку юноши к зыбкой своей груди:

– Слушай, как бьется птичка: тук-тук! – Она совсем близко заглянула в его глаза. Нашла его губы, поцеловала. – Бойе, милый мой, – в голосе ее укорчивая тоска, молящий стон.

Прохору стало холодно, словно метнуло на него ветром из мрачного ущелья.

– Вот лягу возле тебя… Обними… Крепче, бойе, крепче!.. Согрей меня… Сердце мое без тебя остынет, кровь остановится, глаза превратятся в лед. Не ветер сорвет с моих щек густоцвет шиповника, не ночь погасит огонь глаз моих. Ты, бойе, ты! Неужели не жаль меня?

Прохор в этот миг заметил сидевшую на обрывистом камне, над самой водой, молодую вдову-тунгуску. Грудь ее дрожала от глухих рыданий, и черные распущенные волосы свисали на глаза. Прохору вдруг захотелось причинить девушке страдание, и он сухо сказал:

– Нет, Синильга, не жаль тебя. Вот ту жаль…

Синильга молча встала и, побежав, столкнула вдову в реку, а сама возвратилась холодная.

– Неужели густые сливки хуже прокисшего молока? Эх, ты!.. – сказала Синильга и легла возле него на золотом песке. – Не любишь, значит?

– Я другую люблю, – прошептал Прохор, не в силах оторваться от влекущего к себе лица Синильги. – Ты прекрасна, но та лучше тебя во сто раз.

– Ах, бойе! – вздохнула девушка и вся померкла. – Оставайся здесь, оставайся! Я научу тебя многому. Любишь ли ты сказки страшные-страшные? Я – сказка. Любишь ли ты песни грустные-грустные? Я – песня, а мое сердце – волшебный бубен. Встану, ударю в бубен, поведу тебя над лесом, по вольному бездорожному воздуху, а лес в куржаке, в снегу, а сугробы глубокие, а мороз лютый, и возле месяца круг. Ха-ха-ха!.. Ой, горько мне, душно!

И она заплакала и стала срывать с себя одежду, но не могла этого сделать: словно холодное железо, пристыла одежда к ее телу. Плакала Синильга долго, ломала руки в последней тоске, и плач ее сливался с другим плачем: взобравшись на окатный белый камень, видимый среди ночи при свете звезд, навзрыд рыдала с того берега вдова.

Прохору все еще лень подняться; он только слушал, и ничто не удивляло его.

– Не верь вдове! Она притворщица: плачет о том, чего не было, ищет, чего не теряла.

Синильга все ближе придвигалась к нему – он отодвигался:

– Ты холодна, как снег, Синильга.

– Я снег и есть.

– Синильга! Если б ты была она, я бы любил тебя.

– Бойе! Я и есть она, она и есть я… Разве не узнал?

– Я никогда не видал ее. Я только слышал про нее сказку… Та – мертвая… Но я возвращу ей жизнь.

– А я не мертвая? Я, по-твоему, живая? Бойе! Вот, поцелуй меня жарко, жарко. Брось меня в костер твоего сердца, утопи меня в горячей своей крови, тогда я оживу. Ох, тяжко мне в гробу лежать одной и хо-о-лодно…

Прохору стало жутко. Он придвинулся вплотную к костру и никак не мог оторваться взором от Синильги: столь прекрасна она была.

– Значит, ты шаманка? Та самая, что…

– Та самая.

Словно льдина прокатилась по спине его. Задрожав, он крикнул:

– Врешь!!!

– Прохор Громов! – вещим, резким голосом произнесла Синильга.

– Откуда ты знаешь? Ты кто? – весь холодея, юноша вскочил.

Та же ночь была, тихая, звездная. Прохор перекрестился, вздохнул. Он хотел тотчас же записать этот странный сон, но отложил до завтра: голова была тяжелая, слипались утомленные глаза. Подживил костер и крепко, по-мертвому, заснул.

– Вставай, что же ты… Эй, Прошка!

Шитик круто взял к фарватеру. Солнце ударило Прохору в лицо. Он поднялся.

– Что за чертовщина такая! – От разбавленного водой спирта, что угощал его старик, у Прохора в голове и во рту до сих пор скверно.

На берегу стояла группа тунгусов – мужчин и женщин.

Они вышли взглянуть на шитик и пожелать счастливого пути.

Прохор подошел к старику, спросил его:

– А где Синильга?

– Какой Синильга? Нет такой… Может, мой девка, дочка? Он в чуме сидит, хворает.

Прохор дико смотрел на него и тер недоуменно лоб.

«Разве спросить вдову, может быть, это она приходила ко мне на ночное свиданье? Может, ее Синильгой звать?»

Но Ибрагим еще раз крикнул с шитика:

– Прошка, плывем!!!

11

В самом конце августа путники с большими лишениями, через упорную борьбу с рекой наконец прибыли в Ербохомохлю – последний населенный пункт.

– Жалко расставаться с вами… Ну и жалко! – искренним голосом сказал Фарков. – Дюже привык я к вам… Ей-богу!

Как ни упрашивали его Прохор с Ибрагимом, чтоб не оставлял их, Фарков не соглашался:

– У меня там сын, хозяйство. Как спокину? Ведь ежели плыть, дай бог к Пасхе домой-то вертануться… Много тысяч верст надо обратно-то околесить. Баба подумает, что утонул. Нельзя, братцы.

Фарков попрощался сначала с Ибрагимом, потом подошел к Прохору и обнял его, как сына:

– Ну, Прохор Петрович, прощай, дружок!.. Много тобой довольны… Значит, через годик будем поджидать тебя. Так-то… – Он отвел Прохора в сторону. – Иди-ка, паря, на пару слов, – и, усадив его на завалинку возле избы, заговорил тихо, трогательно: – Вишь, что, Прошенька. Ты хорошенько обмозгуй дело-то, плыть ли. Поздно, смотри. Вдруг замерзнете, а? Ведь дальше ни души не встретишь.

– Я решил плыть.

– Смотри. Надо мужиков расспросить здешних, стариков. Может, бывал который. Ну ладно, авось Бог пронесет… А вот еще чего… – Он положил ему на плечо руку и совсем тихо зашептал: – Тунгуска-т, шаманка-т, мертвая-то… Ведь ее впрямь Синильгой звали. Вспомнил, ей-богу право… Синильга, как есть.

Прохор вопросительно, с внутренней дрожью взглянул на него:

– Ну и что же?

– А то, что не шибко-то накликай ее. Избави господи: прицепится – с ума сойдешь. Такие-то, сказывают, по ночам кровь сосут. Ежели будет манить тебя, ты больше молитвой. Бывало случаев разных много…

– Ерунда какая! – овладев собой, презрительно ухмыльнулся Прохор.

Фарков купил лошаденку и верхом уехал в тот же день. Прохор с Ибрагимом осиротели.

Ербохомохля – маленькое, захудалое село. Есть деревянная церковь, но колокола ее давным-давно безмолвствуют: пятый год нету постоянного священника, лишь раз в год приедет благочинный, отпоет на погосте всех огулом, кого зарыли в землю, окрестит ребят, потом пойдут своим чередом веселые свадьбы; благочинный как следует дорвется до дарового угощенья и, весь опухший от вина, возвращается домой. А в народе – горький смех, глумленье, истинные слезы: верующий стал невером, маловерный на все рукой махнул: «Обман, мошенство».

Жители в селе Ербохомохле – старожилы. Предки их перекочевали сюда из Руси еще при царе Алексее Тишайшем, частью беглые от крепостного права, от солдатчины или осевшие тут казаки, что отвоевали когда-то земли сибирские. Теперь добрая половина жителей занималась звероловством, часть – допотопным способом ковыряла землю, что-то сеяла и была в полной кабале у суровой, обманчивой природы. Остальная же часть, немалая, – отъявленные жулики. Они обманывали соседей, друг друга, отца, брата и кого придется, по преимуществу же беспомощных, простодушных тунгусов, в большом числе ежегодно собиравшихся сюда с богатейшими дарами тайги на ярмарку в день зимнего Николы. Приезжали на эту ярмарку и тороватые купцы из ближнего городишка, торчавшего где-то за полторы тысячи никем не меренных верст. Приезжал и сам господин становой пристав – око царево – и урядник, а то и пастырь: на случай духовных треб.

В сущности, это не ярмарка, а денной грабеж, разбой, разврат и пьянство. Почти никто не уходил отсюда цел душой и телом. Были изувеченные в драке, вновь испеченные покойники или принявшие лютую смерть от лютого мороза: оберет торгаш до нитки, даст в дорогу огненной воды – вина, обтрескается тунгус, замерзнет, – все следы скрыты. Были потерявшие от горя рассудок и на всю жизнь ставшие калеками, были награжденные дурной болезнью или чем-нибудь в том же роде.

Всяк уносил обратно в тайгу проклятия на русские порядки, на судьбу, на жизнь – эх, лучше б не родиться, будь прокляты мать с отцом!

Начальство же проявляет показную деловитость: кричат, распекают, пишут протоколы, грозят торгашам тюрьмой – актеры не без дарований, – в конце же концов, набив «в честь благодарности» торбы соболями, в веселых мыслях спешат домой.

Все это и многое другое Прохор узнал до тонкости от умных старожилов, его книжечка с записями пухла – подшивал листки.

Он зашел к братьям Сунгаловым – почтенным старикам. Старшему – Никите – древнему, как седые волны, было сто шесть лет, что не мешало ему владеть крепкой головой.

Он сказал Прохору:

– Поезжай. Ежели планида у тебя счастливая, – доплывешь. А нет, так и в лужине, браток, потонуть можно. Всякому свое указано.

Младший же, девяностолетний брат, которого Никита называл, по старой памяти, Спирькой, предостерегал Прохора:

– Скоро зима, мотри, ляжет. Вот-вот и мороз хватит. Здесь самый сивер живет, самый студеный край наш… Паря, не шути!

– Теперя быстрина пойдет, подхватит шитик-то во как! – возражал Никита, выпрямляя свою сутулую спину.

– Какая же, братец, быстрина? На перекатах еще туда-сюда, ну, а в плесах-то?

– Под-д-хватит, – стоял на своем Никита. – Ты, Спирька, трусу празднуешь.

Прохор спросил:

– А сколько считаете верст до устья?

– Тыщи полторы.

– Порогу, паря, берегись… – сказал девяностолетний Спирька. – Порог свирепый, живо вглыбь утянет, твой шитик в щепы расшибет.

– Река сама себя укажет, знай не зевай! На все воля божья, ничего. – И дед Никита пристально поглядел на Прохора побелевшими от старости глазами.

Ибрагим меж тем до поздней ночи ходил из избы в избу, искал проводника. Но ни один человек плыть не соглашался:

– Какая неволя? Лучше дома умереть, чем на прямую гибель ехать.

Ибрагим давал сто рублей, давал двести, но все упорно отвечали:

– Нет.

Ибрагим изрядно приуныл: ни он, ни Прохор к речному делу не больно-то способны.

Ночевали на земской, а шитик караулил нанятый за стакан вина пьющий мужик. На дворе по-осеннему холодно, ветер завывал в трубе, и стекла от кипящего самовара сразу запотели. Путникам приятно было сидеть в теплой избе, укрывшись от непогоды.

– Может, последнюю ночку так, – грустно сказал Прохор.

Ибрагим молча, сосредоточенно пил чай и вытирал потную лысину грязной тряпицей.

– Ты, Прошка, не захворал ли?

– Нет, – отвечал Прохор, – а так чего-то.

Он вспомнил о доме, о родителях. Захотелось приласкаться к матери, – она так любит его, так бережет, угощает малиновым вареньем… С каким бы удовольствием съел он хорошую долю сладкого пирога с густыми-густыми сливками или тарелки три киселя из облепихи. Так наскучили эти сухари, эта рыба, это оленье мясо, – все одно и то же, сегодня, завтра. Разве бросить все к чертям? Нет, взялся за дело – делай! Надо же ему на самом деле выведать: где на всем течении реки выходят с богатой пушниной тунгусы, где притаились русские торговцы? Таков наказ отца.

Ветер толкался в утлые рамы, плохо вмазанные стекла уныло дребезжали и попискивали, как издыхающие комары.

– Ты, Ибрагим, о чем думаешь?

– Ни о чем.

На самом же деле думы Ибрагима были мрачны. Его охватило сомнение. «Куда плыть, зачем? Ведь впереди ни одного жилого места, безлюдье, дичь. Кого же Прохор будет там расспрашивать? Это шайтан, а не отец! Зачем он послал сына на такую явную погибель?»

Лампа горела тускло. На печи сидел жирный кот; от безделья он умывался и посматривал на незнакомых желтыми, как осенние листья, глазами. Вошел, пошатываясь, босой мужик-хозяин. Черный, лохматый, растрепанный, словно после драки. Он рыгнул, поскреб поясницу, сел на пол и стал что-то говорить. Но во рту будто каша, – мямлил, и выговор он имел странный: скалы называл «школы», «сохатый шел» у него звучало: «шохатый сол». Гнусаво и тягуче рассказывал про медведей, про их повадки, как охотники запирают медведя в берлоге елками – срубят небольшую елку да в берложий лаз и всунут, а медведь сгребет елку да к себе, еще сунут – он опять к себе.

– Вшо к шобе да вшо к шобе.

– Пошел вон! – желчно крикнул на него черкес.

Мужик поскреб с ожесточением обеими руками лохмы, раскачался, встал и, рыгнув на всю избу, вышел.

Ложась, Прохор сказал:

– Давай загадаем, Ибрагим! Если завтра солнышко будет – поплывем. А нет – назад вернемся.

Ибрагим согласился, но прибавил:

– Ежели назад, зима ждать надо.

Прохор знал, что они попались с Ибрагимом в ловушку, обратно отсюда нет иной дороги, кроме водного пути, а берегом не проедет даже всадник: многочисленные быстрые притоки Угрюм-реки не имели паромных переправ, да жители в них и не нуждались. Куда им ездить, что смотреть? Весь мир для них – своя собственная деревня, непроходимая тайга, болото. Кругом простор, и нет простора: ноги крепко вросли в землю, душа без крыл.

«Удивительно живут люди, камни какие-то, пни…» – размышлял Прохор засыпая. Его юная душа вся в желанье жить, видеть, узнавать. Он вдоль и поперек изъездит всю Сибирь, всю Россию… А может, и весь свет. Но когда это, когда? Он потрогал пробивающиеся усы. – «Черт его знает, только семнадцать лет еще… Мало как!..»

Однако мечтам нет дела, что он юн, – влекут его по волшебному пути, усыпают путь цветами: то он мчится на собственном автомобиле в Америку, то правит океанским пароходом, бьет китов, тюленей или – вот потеха! – он Дон Кихот, Ибрагим – Санчо Панса, оба, закованные в латы, яро бьются с шайтанами, чертями, со всей таежной нечистью, они освободят красавицу Синильгу от мертвого дьявольского сна и повезут ее, живую, веселую, унизанную скатным бисером, в хрустальный свой чертог. А дальше, а дальше? Что же дальше?.. Спальня. Обои в спальне красные. Лампа-«молния» с красным стеклом. Огонь в лежанке красный. И Синильга – маков цвет – тоже во всем красном. Кровать широкая, двуспальная, под золотым парчовым красным пологом. Горы краснобархатных подушек, и одеяло красное… Прохору душно. Прохору жарко. Красная кровь захлестнула красными волнами душу, душа вспотела, распалилась. Хочется Прохору сорвать одежды с красавицы Синилыи, скорей, скорей!.. А что же дальше? Свадьба. Шумный пир. Гости кричат: «Горько, горько!» Гости ждут. Вот грохнула в честь их пушка, потом трескучий барабанный бой.

Прохор проснулся и не мог сообразить, где он. Было темно, душно, и пахло дрянью. В ногах, к нему мордой, сидел кот; глаза его полыхали. Ибрагим громко, заливчато храпел с каким-то злобным отчаянием.

А сон еще не кончился, сон бушевал в молодой крови, Синильга возле, тут, и полуоткрытые губы ее ждали поцелуя.

– Эй, вштавайте, шамовар вшкипел!

Путники враз вскочили.

– Солнышко! – вскричал Прохор. – Гляди-ка, Ибрагим!.. Значит, едем.

– Верно твоя, – грустно сказал черкес.

– Погодье шамо шладко, – прошепелявил лохматый, обросший мохом лесовик-хозяин, – жнай плыви да плыви.

Путники почаевали и – быстро к шитику. Небо безоблачно и тихо. Играл золотом крест на церкви, дрались два петуха – красный с белым, – бороды и гребни их расклеваны, капли крови горели под солнцем, как рубины. Через дорогу степенно шествовал, мечтательно похрюкивая, боров; он весь заляпан жидкой грязью и блестел, как крытый лаком. Навстречу шла за водой тетка. Жестяные ведра ее сияли и казались сделанными из стекла.

– Нажад, паря, нажад! – заорал провожавший путников хозяин. – Айда в проулок!

– Почему? – удивился Прохор.

– Ежели баба вштречь – пути ня будя.

Путники повиновались: пусть все благоприятствует их удаче. Хозяин объяснил им, что зловредней бабы никого на свете нет. Вот попробуй-ка встретить ее, когда идешь в тайгу на промысел. Ни с чем вернешься, а то и на зверя «натакашься». Но баба может и помочь. Пусть она станет в дверях и расшарашит ноги, а ты с ружьем промежду ног-то на карачках и ползи; очень пользительно таким же манером и главную собаку протащить.

Хозяин попробовал улыбнуться, но вместо того скривил кислую, шершавую, как старый веник, рожу и чихнул.

У шитика человек с десяток зевак. Пьющий мужик – караульный – в шубе, в пимах и шапке с наушниками – терпеливо прел, и рыжая борода его на солнце пламенела.

Шитик круто взял к фарватеру, заскрипели весла, недовольно забрюзжала сонная вода.

– Ну, Прошка… Куда едем? Знаешь куда?

– Нет.

– И я нэт. Очень хорошо!

Но река здесь глубока, раздольна, за селом их подхватила быстрина, вперед летели без запинки, а солнце напутствовало их ласковым теплом. Лицо Прохора вскоре прояснилось, глаза горели несокрушимой верой в себя, ему уже грезился радостный конец пути, хотя это всего лишь скрытое неизвестностью начало. Так легковерный пахарь, бросая в землю зерно, обманно чувствует пряный запах свежих караваев, он облизывается, поводит челюстями, глотает слюну, но вот слепая длань природы пошлет на его полоску град – и брюхо пахаря всю зиму пусто.

– Хорошо, Прошка. Ух, как прет!

Взглянув Ибрагиму в лицо, Прохор почуял нутром, что глаза черкеса говорят другое, и ничего ему не ответил.

Над водой крутился пар: солнце с утра сосало воду. К полудню солнце было самое горячее, летнее. Видно, сбилось оно со счету в днях, остановило на мгновенье бесконечность, попятило раком утлый шар земли, и все это ради них, ради этих двух плывущих.

Ибрагиму достаточно понятен этот полный жестокого коварства замысел.

– Ты помнишь, Прошка, как Фарков на большой муха… Как она? Слепень? Ну, ну… как он карасей ловил? А? Карась – знаешь кто?

– Не знаю.

– Мы. Один да другой.

– А слепень?

– Не знаешь, что ли? – И углы губ Ибрагима полезли вверх. – Во! – ткнул он веслом в солнце.

Прохор недоумевающе хлопал глазами.

– Ишак! – рассердился Ибрагим и фистулой внезапно закричал: – Камень, камень, камень!!

Шитик ударился о подводный валун, над которым чуть взмывали волны, качнулся вбок и, слегка раненный, поплыл дальше.

– Правь верней, чего зеваешь! – крикнул Прохор.

Но дальше пошло спокойное плесо, зато шитик стал подвигаться медленно.

– Кто это?! Эй, Прошка? – шевельнулся в корме черкес и мотнул головой на дальний берег.

Настигая путников, мчался берегом белый всадник. Он взмахивал руками и что-то кричал. Прохор бросил весла.

– Стой, стой! Пожалуйста, погоди-и-и… – смутно доносился голос.

– Давай к берегу, – сказал Прохор. – Может, что забыли мы. – Он ощупал карманы: бумажник, книжка тут.

Прохор в белом всаднике узнал столетнего Никиту Сунгалова. Древний старец кое-как скатился со взмыленной лошади и врастяжку пал на землю:

– Ой, свет из глаз!

Белые порты и рубаха насквозь пропотели и прилипли к телу, лицо красное, словно старик выскочил из жаркой бани; рот жевал, глаза уходили под лоб. Пока Прохор доставал из сундука спирт, старик поднялся. Глоток спирту оживил его.

– Соколик мой, человек хороший! – сказал он Прохору и вытащил из-за пазухи кожаную мошну. – Было совсем из ума выжил, ох ты, господи! Ведь мимо монастыря побежишь-то ты… Так, так… Ну, вот тебе десять рублев, дружок. Закажи там монахам сороковуст. Пусть поминают Микиту. Меня Микитой кликать-то. А фамиль не объясняй. Богородица и так знает, что за Микита за такой. Одначе, впрочем говоря, напиши, мол, раб божий старец Микита Сунгалов, из казацкого роду. На всяк случай чтобы… А то в Оськиной тоже Микита недавно помер, вроде меня – старый пень.

Путники с умильным удивлением смотрели на него.

– Да ведь ты живой! – воскликнул Прохор, улыбаясь.

– Горя мало… В Покров умру, – спокойно сказал старик. – Матерь моя приходила за мной: «В Покров, говорит, я тебя, сынок, покрою, приготовьсь». А просвирку-то купи, малый, самую большую, за пять алтын либо за двугривенный. Теперича плывите с Богом… Ну-ка, подсади меня.

– Что ты, дедушка Никита, – сказал Прохор, помогая ему взобраться на лошадь. – Еще встретимся с тобой.

– Это верно, что повстречаемся. Только не на земле, браток… Господь тебя благослови, Господь тебя благослови. Плывите, не страшитесь, реку не кляните, она вас выведет. Река что жизнь.

– Отдохнул бы…

– Я шажком теперича, тихохонько… Плывите, провожу я…

Белый дед долго виднелся на зеленой хвое и крестил широким крестом плывущую ладью.

12

Еще четыре дня подвигались путники вперед под манящими лучами солнца. Дни были безветренные, теплые, вечера с золотым закатом, а ночи – звездные, с крепким инеем; путники стали мерзнуть. Прохор ложился спать не раздеваясь. Ибрагим чаще подбрасывал в костер сухих смолистых пней.

День стал короток, вечер наступал быстро, почти сразу же после заката, и торопливый сумрак охватывал собою все кругом: плыть становилось невозможно, и путники, измученные беспрерывной работой, все-таки принуждены были урывать у сна часы. Они подымались задолго до солнца, по очереди досыпали в дороге, не пыльной, не тряской, единственной: все пути земные навек пригвождены к месту, только волшебный путь реки весь в вечном движенье, даже мертвецки спящего умчит он на своей груди: почивай, проснешься в океане.

Угрюм-река повернула от Ербохомохли на закат.

На пятые сутки седым глубоким утром путники враз, словно по уговору, оторвались от сна – и ахнули: была зима.

Густым ковром лежал повсюду снег, плешивые сопки нахлобучились белыми колпаками, и тихое плесо, где стоял шитик, в одну ночь сковало льдом. Над головами клубился холодный туман; он плыл неторопливо от таежных дебрей к бледному, еще не закатившемуся месяцу.

– Прошка! Что же это? Цх!..

Прохор не сразу пришел в себя. Его ошеломил этот внезапный переход от солнечных, почти летних дней к зиме, и все, что видел он теперь перед собою, представилось ему большим погостом.

– Вот так уха! – присвистнув, протянул он, стряхивая со своей бурки, под которой спал, целые сугробы снега. Развешанная у потухшего костра, волглая от вечерней росы одежда была тверда, как кол.

– Есть хочу… Разводи костер, – спокойно сказал Прохор. – Не бойся! – Он зябко вздрогнул, схватил топор и со всех сил принялся рубить смолье. Кровь быстро потекла по жилам, и еще не окрепшая тревога схлынула.

– Как ехать? Лед кругом… – сказал черкес.

– Ерунда! Где наша не пропадала.

Черкес любовно посмотрел на него.

– Молодца, Прошка! Пойдем мордам умывать.

Прохор взмахнул колом, лед хрустнул, как стекло, стрелами во все стороны сигнули щели, даль отозвалась веселым эхом.

– Давай бороться! – неожиданно вскричал, улыбаясь, Прохор.

И оба, сильные, бодрые, отфыркиваясь и во все горло гогоча, барахтались в молодых сугробах, облаком вздымая снег.

– Смэрть или живот?! – кричал черкес, брякнув Прохора на обе лопатки.

– Жрать! Каши!

– Вари, а я пойду. – Ибрагим взял наметку и быстро зашагал вдоль берега.

Утро просыпалось. Туман исчез. Месяц истекал последним светом, побледнел. Подслеповато щурилась утренняя звезда над лесом, а белый колпак на высокой дальней сопке заалел.

– Эге, отлично! – сказал Прохор. – Солнце.

Бодрым треском трещал костер, весело клубился дым, куски сохатиного сала таяли в каше, шел сытный дух. Прохор то и дело бегал от костра на шитик, сгребал там снег, стряхивал брезенты, околачивал весла и багры.

Огромное, тихое, прикрытое ледяным стеклом плесо стало помаленьку облекаться в багряный цвет: лучи показавшегося солнца плавно скользили по глади льда, еще немного – пар пошел.

– Ерунда! – сам себе улыбаясь, сказал Прохор. Солнце играло в его черных молодых глазах.

Каша была вкусная. Жмыхало в ней сало. Круто солил и ел с наслаждением, запивая кирпичным чаем с леденцами.

– Дальше чисто! Быстерь! – размахивая наметкой, издали кричал бегущий к Прохору черкес.

– Быстро?

– У-у… Валом валит!..

С натугой ломая лед, шитик медленно прокладывал себе дорогу. Работа была тяжелая. Руки устали взмахивать грузными баграми, градом струился пот, мозоли на ладонях кровоточили.

Солнце ленилось, лед упорно противостоял его косым лучам. Лохматый мороз прятался в белых куржаках тайги. Мороз, как заговорщик, плутовато подмигивал солнцу и посмеивался в бороду, глядя на взмокших людей, готовых разразиться бешеным проклятием. День перевалил за половину, а половина плеса была еще далече.

Прохор с сердцем бросил багор, сел на скамью и закурил папиросу. От первой закурил вторую, от второй – третью. В глазах позеленело.

Ибрагим тоже бросил работу, подбоченился. По локоть голые мускулистые руки его дымились паром, большой крючковатый нос печально повис, как у индюка, углы губ подтянулись к ушам, обнажив свирепо стиснутые зубы.

– Цх!

Обменялись взглядами, молчаливо поглядели назад, где чернела пробитая во льду траурная дорога, и, вздохнув, молча принялись за работу.

Приближался вечер. Страшно хотелось есть, все тело ныло от дьявольских усилий, но медлить некогда: надо заслужить отдых, надо на чистой быстрине праздновать победу.

Солнце уходило на покой, коснувшись остывшим краем темной бахромы лесов. Ибрагим погрозил солнцу кулаком и плюнул.

– Урра! – закричал что есть силы Прохор, когда шитик, порвав последнюю цепь ледяного плеса, быстрым ходом заскользил вперед.

Река шла все еще на запад, лучи солнца ударяли в глаза путникам, мешали верно править: шитик летел вслепую. Река была мелка, ложе усеяно булыгами и крупной галькой, которая с шумом перекатывалась течением. Дно шитика скорготало и потрескивало, ударяясь в камни. Путь быстр, податлив, но опасность грозила ежеминутно.

А вот и остров. Мрачной черной скалой, одетой в траур снеговых пятен, он выставил навстречу путникам свой острый злобный нос. Вправо открылась матерая протока, влево – едва виднелся узенький, поросший кустарником рукав.

Ибрагим повел шитик в широкую протоку. Чрез добрый час, когда уже надвинулись сумерки, шитик с налету врезался в песок. Сгущавшийся осенний мрак кутал невидимкой все кругом. Пришлось на мели заночевать.

Ночи не было, был миг. Проснулись оба, удивились: да полно, спали ль? Как будто только что легли. Но нет, уже появилось солнце, и снег кругом предательски блестел, слепя глаза. Вода, как и вчера, быстро скользила мимо шитика, впереди играли беляки.

– Сначала найдем, Прошка, ход… Выплывем на глыбь и – к берегу. Тогда горячий чай напьемся… Холодно!

Посиневшие, голодные, оба спустились без штанов в ледяную воду и наметками стали щупать дно. Вода грызла ноги холодными зубами. Иззябшие, измученные неудачей, с проклятием вернулись обратно: впереди ходу нет, река замыкается сплошной песчаной мелью, чрез которую еле переливает тонкий слой воды! И так версты на две, на три. Что ж делать? Значит, брать в узенький рукав.

– Леший ее знал!.. Бэз чалвэка, Прошка, пропадем!..

– Пропадем. Дальше все острова виднеются. Без плана трудно. Карты такие большие есть, где все срисовано, называются – планы.

– Понимаю, – сказал Ибрагим.

После торопливого, всухомятку, завтрака с большим трудом сняли шитик с мели и, со всех сил упираясь баграми, стали тихо подыматься вверх, назад. Только под вечер пришли они к носу острова, который так же злобно, как и в прошлый день, смотрел на них трауром черных и белых пятен.

– Черт знает, весь вчерашний труд пропал задаром, – закусил дрожавшие губы Прохор и с досадливой тоской взглянул на пробитую в плесе ледяную дорогу: ее вновь сковал мороз.

– Надо стрэлой лететь, тогда выйдем… А мы двадцать верстов вперед, пятнадцать назад… Тьфу! – плюнул Ибрагим, всматриваясь в устье маленькой проточки.

– Надо по двести верст в сутки проплывать. Надо день и ночь плыть, Ибрагим.

– Мало ль чего надо! – крикнул черкес. – Дома надо сидеть!.. Куда черт понес!.. Не шутка.

– Давай сделаем очаг на шитике, чтоб к берегу не приставать.

– Хоть бы какой шайтан встретить… Ни тунгус, ни черт нэту. Тьфу!!

Левая протока, куда направили шитик, стала постепенно расширяться; она быстра и глубока.

– Какой хитрый! – сказал Ибрагим, бросив весла: шитик самоплавом подавался вниз.

– Кто хитрый?

– Кто? Вода!.. Маленький вода, гляди, какой большущий стал; большой вода совсэм вчера дурак. Поди узнай…

– Гы, черт… Слышь, опять шумит!

Впереди раздался глухой рокот.

– Водопад в горах или порог! – тревожно прислушивался Прохор к нараставшему шуму.

Бессильное солнце садилось в тучу, сентябрьская зима все еще белела, куда ни взглянь. Где-то близко октавой промычал сохатый – лось.

– Гуси, Прошка, гуси!

Ибрагим схватил ружье и замер. С бодрым гоготаньем низко тянул вдоль реки табун гусей.

– Эх, срэзать бы, – шепнул Ибрагим, захлебываясь древней страстью, – кунак, голубчик!.. Сюда, сюда!

Ловкий выстрел срезал гуся. Встревоженный табун сделал шумный круг над павшим в воду товарищем и с печальным гоготом помчался дальше к югу.

– Он раненый! Догоняй! – кричал Прохор.

– Греби, греби!..

– Стреляй! Дай ружье!.. Дай сюда!!

– Греби, греби!!

Подбитый гусь уносился течением вниз, шитик настигал его, трещали весла, уключины скорготали, взвизгивали.

– К берегу, Прошка, к берегу!! – вдруг неистово завопил черкес. – Порог!.. Алла! Алла!!

Увлекшиеся путники, не слыша и не видя ничего кругом, неожиданно очутились среди бушующих валов, в преддверии грозного порога.

– К берегу!!

– Пропали… Ой!

– Наляг, наляг!!

С треском хрустнуло весло и – к черту.

– Пропали!

– Новое, где новое?!!

Прохор вскочил и, схватив багор, сильными толчками в камни опруживал нос к берегу. В корме, стиснув зубы и весь побелев от напряжения, пыхтел черкес. Волны хлестали в борт лодки – вот-вот опрокинут. Впереди, как сто зверей, люто ревел порог.

– Еще-еще-еще! Наддай!

Второе весло – хрясь! и – к черту. Но бой кончился: перед самым порогом шитик вошел в тихую заводь и, весь пропитанный духом борьбы, передавшейся ему от живых существ, победоносно пробивался к берегу.

– Фу-у-у!.. – протянул взмокший, дрожащий Прохор.

А Ибрагим только посвистал и крепко сплеча выругал и уплывшего гуся и порог.

В них обоих еще горел момент борьбы, момент прилива сил, глаза полыхали, быстрым бегом била во всем теле кровь. Но когда все внутри их стало затихать, Ибрагим и Прохор с трепетом подумали о только что минувшей схватке с Угрюм-рекой и ужаснулись.

– Прошка, а если бы перевернуло нас?.. Что бы? А?

– Выплыли бы.

– Это худо. Надо утонуть. Что жрать стали бы? Где сухари, где все? Ой-ой, Прошка.

– Да-а-а… – протянул в тупом раздумье Прохор и после короткого роздыха сказал: – Обедать надо… Два дня не ели как следует.

– Никакой не обэд… К свиньям обэд!.. Плыть надо… Тут сдохнешь… Пойдем порог смотреть.

Прохор умоляюще взглянул на Ибрагима; тот, сдвинув брови, зло сопел. Прохор понял, что надо подчиниться.

Огромные валуны на берегу покрыты снегом, скользки. Прохор провалился меж камнями, упал, едва не сломав ногу. А вот и начало порога. Река здесь сдвинула почти вплотную свои скалистые берега. В эти узкие ворота валила вся вода сверкающей, гладкой, без взмывров, массой. Образовав саженный водопад, она с грохотом мчалась дальше, сразу поседевшая, бешеная, яро набрасываясь на грозно торчавшие из воды камни. Вода кипела, злилась; грохот и рев стояли неописуемые. Прохор кричал Ибрагиму, Ибрагим Прохору, но ни тот, ни другой не могли расслышать даже своего собственного голоса.

– Вот тот камень самый страшный! На самом бою! Надо испытать! – кричал Прохор, показывая на зеленый камнище: разъяренная вода скатывалась с него седыми кольцами, как с огромной, приподнявшейся над бурлящим потоком башки чудовища.

– Прошка! Тот камень – смэрть!! – беззвучно кричал и Ибрагим, швыряя булыжником в тот же камень. – Не миновать его.

Он взял обрубок дерева и спустил в самый слив. Обрубок быстро заскользил по водяной горе, захлебнулся пеной и с наскоку долбанул торцом в лысый камень.

«Так нельзя, надо левее плыть», – подумал Ибрагим и спустил вторую чурку, полевее. Но и она в водовороте помчалась к камню. Прохор понял опыт Ибрагима и тоже стал пускать поплавки. Все струи бешеного течения били в камень: куда бы ни спустили чурку, она неизбежно неслась, как к магниту, к зеленой плеши чудовищной башки.

Обескураженные, печально поплелись к шитику.

– Что ж делать?

– Плыть! – сказал Ибрагим твердо. – Зимовать, что ли, тут?

Выбора не было, где плыть. Один путь: в широкое хайло смерти. Вопрос, когда совершить самоубийство: немедленно, на пустой желудок, или сначала наесться до отвала и в завершение пуститься в смертный бой. Пусть он будет последней чарой игривого вина, отравленного сильным ядом.

Но когда дух взвинчен и рвется к победе, к гибели, в неизбежный бой – плоть безмолвствует: у путников вдруг исчез алчный перед этим аппетит.

– Кончено! Едем!

Ибрагим поддерживал в Прохоре возбужденную предстоящей схваткой бодрость, называл его джигитом, отрывочными, нескладными фразами рассказывал о тех опасностях, которым ежеминутно подвергается горный, на Кавказе, житель. А постоянные набеги, а стрельба, удар кинжалом в грудь? А знает ли Прошка месть – кровную месть на Кавказе? О, штука страшная, не этому паршивому порогу чета. Из рода в род!

– Ничего, джигит, нэ робей! Нэ умрем… Целы будем!

– Я знаю, что не умрем, выплывем.

– Молодца, джигит!.. Всегда так… В бою чалвэк спеет… как персик. В двадцать лет орлом будышь. Ничего, джигит… Молодца! Кынжал как закаляют – знаешь? В огонь да в воду – жжих!.. В огонь да в воду. Так и чалвэка надо… Крэпка будышь, сильна будышь!

Прохор глубоко, свободно дышал, глаза горели, и жег щеки молодой задор. Он внимательно, любовно слушал Ибрагима и проникался к нему уважением, как к отважному герою.

– Вот только продукты… Мало их у нас. Недели на две, на три, – сказал он. – Может, перенести их за порог? А вдруг опрокинемся?

– Ерунда, – резко оборвал его черкес. – Нэ надо думать. Будышь думать – утонешь, не будышь думать – нэ утонешь. Цх!

Вечер угасал. Кругом неуютно, одиноко, холодно. Порог ревел седым древним ревом, и, казалось, ревела вместе с ним озябшая тайга.

От неумолчного шума и гуденья у Прохора кружилась голова, замирало сердце. Но опьяненная душа его – на крыльях.

Вместе с Ибрагимом подплывали к воротам в ад. Ад кипел и пенился. С шитика, все более и более увлекаемого течением, буруны волн казались огромными, страшными. Как могилы на заклятом погосте, они росли, проваливались, вырастали вновь. Заря была холодная, желтая. И кругом было жутко: холодный погост, холодные могилы, смерть. Шитик от страху закрыл глаза, незряче мчал вперед.

– Простимся, Ибрагим… На всякий случай… Прощай, Ибрагим!..

– Зачем прощай!.. Здравствуй!

– Прощай, Ибрагим! – со всех сил последний раз крикнул Прохор.

– Джигит!

И все потонуло в грохоте. Ярко вспыхнула заря на небесах. Громыхающим огнем засверкали брызги, шипя и взвизгивая, закувыркалась, запрыгала тайга, небо упало в волны, и все клубилось в адском бешеном котле.

– Греби, греби!!

– Ух-хх!

– Молись Богу!

– Право держи!!

Крики, грохот, гул. Конец.

13

«Кажется, время было бы Прохору и весточку о себе подать, ведь на санях уехал, чуть весна обозначаться в небе стала, а теперича белые мухи закружились, вот-вот Покров придет. Время бы Прохору до Крайска-города добраться, а там, сказывают, по струне стафет во все концы сигает; стало быть, и в здешний городишко можно бы стафет прислать. Ездил в город за стафетом приказчик Илья Сохатых, – ни с чем вернулся: лишь красного сафьяна сапоги себе привез да маскарадных, к Святкам, харь».

Так думала о судьбе своего сына робкая, забитая Марья Кирилловна, скучало ее материнское сердце, и сны она видела недобрые. Кусок не лезет в горло, похудела; вот все бы сидела да и думала о нем, о ненаглядном Прохоре: где-то он, где-то бедная его головушка; в этакую страсть поехать, да еще с каким-то черкесом неумытым.

«А отец, Петр Данилыч Громов, что ему?.. Гулеванит себе во здоровье с Анфиской подлой, сорит деньгами. В открытую теперича пошел».

Две раны в сердце Марьи Кирилловны:

«И как тебе не стыдно, Петр Данилыч?.. До седых волос дожил, а сам… Обидно ведь…»

Но другая рана горше – день и ночь огнем горит:

«Сын, Прошенька… Жив ли?»

– Ты вот сладкой наливкой меня чествуешь, а что в сердце моем – не примечаешь, – говорил Петр Данилыч темным сентябрьским вечером, допивая чаек внакладку у любезницы своей Анфисы Петровны Козыревой.

– Твое сердце с перцем, – играючи погрозила Анфиса своим мизинчиком и засмеялась. – Хитер ты больно, впустую хочешь со мной сыграть. Смотри, не из таковских я. Ни с чем отъедешь.

– Пригожа ты, а ум у тебя, как у кошки слепой. Я про сына речь веду. Понимаешь – нет?

– Как не понять, понимаю. Хи-хи-хи!.. – И вдруг изменилась, кольнуло ей что-то в сердце, помимо воли, так, налетело неведомо откуда, вдруг. – Ты про сына речь ведешь? Да уж сын ли он тебе? Да полно, не подкидыш ли?

– Чего такое?

– Неужто своего сына кровного послал бы на погибель? Ведь на погибель, а, Петруша?

– Молчи! – угрюмо сказал Петр Данилыч, глядя на ее губы, на ее беспечальные, внезапно загрустившие глаза.

И оба пили чай молча: наливку пили молча: ни слова больше, трудно говорить.

Домой ушел Петр Данилыч, не простившись. Ночь была. Под ногами, как тонкое стеклышко, колюче потрескивал новорожденный ледок на лужах, и сердцу отцовскому становилось больно.

Анфиса же долго мучилась бессонницей. Всю ночь сама себя спрашивала и не могла ясный ответ сыскать: почему вдруг заныло ее сердце, почему милый мальчик на мысли всплыл неведомо откуда, так вот, вдруг?

И запомнила она этот вечер, эту ночь странную, и не хотела бы запоминать, но, помимо ее воли, не спросясь ее, велел кто-то запомнить на всю ее, Анфисину, неспокойную жизнь-участь.

«Жив ли?»

Ночевал в эту глухую ночь в доме Громовых какой-то вшивый бродяга, Иван Непомнящий. Пожалуй, и не пустила бы к себе за порог такого гостя Марья Кирилловна, да приказчик Илья Сохатых с купеческой кухаркой, краснощекой Варварушкой, упросили: пусти да пусти, может, он в самых тех краях слонялся.

Бродяга, что монах, сытно поесть на дармовщинку любит. Бражничал на дармовщинку бродяга бородатый за поздним ночным столом, чавкал жаренную на бараньем сале картошку, мамонил пшеничный каравай и хриплым, пропитым голосом повествовал сидевшей на лавке в грустной позе Марье Кирилловне:

– Как же мне, барыня-сударыня, не знать? Я все знаю до тонкости. И тунгусишек знаю. Тунгус что зверь… Орда, и больше никаких. Он смирный-смирный, а тут нападает на него блажной стих – возьмет да и пристрелит.

Марья Кирилловна качает головой.

– Неужели ты в самых тех местах был, на Угрюм-реке?

– В тех не в тех, а около. Кха-кха!

– Не подавись, нажрешься… Куда спешишь? – засмеялся пришедший на беседу из своей маленькой комнатки веснушчатый Илья Сохатых.

– Кабы бражки чуток, – прохрипел бродяга, – рассказал бы я вам один случай… Кха!

Сходила Марья Кирилловна в свои покои, поставила пред бродягой стакан вина.

– Лет пять тому, – начал Иван Непомнящий, жадно проглотив огненную жижу, – вот, вроде как твой сын, поехал купец с товаром в тайгу и подручного прихватил с собой. Дело. Уехал, как в воду канул, и теперича все ездит. В третьем годе проходил я в тех местах, слышал – нашли быдто охотники костер, а в костре два шкелета. Дело. Надо полагать, это торговые и есть. Вот тут как…

– Царство небесное, – перекрестилась набожная хозяйка. – Как же это их, за что же?

– За горло, мать, барыня-сударыня… За машинку! Сперва одного в костер башкой, а тут и другого тем же побытом…

Марья Кирилловна скорбно посмотрела с мольбой на потемневшую икону, а Илья Сохатых крикнул:

– Брехун ты, братец мой, бестия!.. Я сам из тайги. Поболе твоего тунгусов-то знаю. Только людей зря пугаешь, мохнорылый.

Бродяга в горячем споре клялся и божился, лез целовать икону и в такой азарт вошел, что начал явную нелепицу нести: чуть ли не сам он помогал тунгусам купцов в костер кидать.

Варварушка смеялась, Илья кричал:

– Вот ужо хозяин приедет, он те, бестия, накостыляет! Мистик какой, дьявол!..

Однако мохнорылому этому бестии Марья Кирилловна поверила нутром и всю ночь не могла отделаться от душевного беспокойства, охватившего ее: всю ночь стоял перед нею в мыслях Прохор, сын, и говорил ей: «Молись, матушка, молись, мне тяжко».

В своей спальне, невеликой комнатке, пропахшей ладаном, богородицыной травкой и водкой, – проспиртовавшийся Петр Данилыч, по случаю холодов, перекочевал с террасы на покой сюда, – Марья Кирилловна зажгла лампадку перед богатым, уставленным серебряными иконами кивотом и усердно, в больших слезах молилась Богородице и апостолу Прохору – да сохранят во здравии страждущего и путешествующего.

– Эй, Господи, помоги, услышь!

А в кухне троица: бродяга с Ильей Сохатых да стряпуха; лишь заперлась на всю ночь Марья Кирилловна, стали бражничать: чай да наливка, у Варвары в печке купецкий пирог стоит, сам-то вряд ли будет жрать – поди, сам-то на карачках от своей крали приползет, тьфу, тьфу!

Показывает приказчик запретные карточки; хохочет бродяга, Варварушка голосисто заливается. Илья Сохатых анекдотец забористый расскажет, бродяга пуще загнет – уши вянут; шум, хохот, наливка к концу идет.

А через стену Марья Кирилловна шепчет, не переставая:

– Богородица, сохрани… Заступница, избавь… – И ноет-ноет ее сердце.

Утром в столовой ни с того ни с сего настенное зеркало пополам треснуло. Пила в это время Марья Кирилловна чай, самовар пары пускал. Но и вчера целый день самовар пары пускал на зеркало, а вот сегодня…

– Умер!! Батюшки мои!.. – побелела Марья Кирилловна да скорее на кухню: – Варварушка, матушка… Знать-то, с Прошенькой неладно… Зеркало треснуло напополам… Боже мой, боже!

У стряпухи с наливки голову разносит. Не разобрав, в чем дело, завыла стряпуха в голос:

– Уж не стафет ли черный сиганул к тебе в окно… Ой-ти мнешеньки!..

– Зеркало напополам… Поди-ка взгляни скорей.

– Ой-ти мнешеньки!.. И чего же мне глядеться-то? Только по рюмочке и выпила… Я за компанство… Уж извините… Бродяжка все…

Посмотрела на нее в упор сквозь слезы Марья Кирилловна, принюхалась к винному угару и, махнув рукой, в печали вышла. Накинула турецкий полушалок да к отцу Ипату, священнику.

Отец Ипат вставал до свету: он уже позавтракал тертой редькой с квасом и теперь, рыгая и посвистывая на веселый лад, мастерил под навесом ульи. В работящих руках пила визжала, белая крупа опилок падала на валяные сапоги, на отвердевшую под утренником землю.

– Зело борзо, – кратко заключил отец Ипат тревожную речь купчихи. – Что ж, можно и обедню… Отчего ж нельзя? А панихиду ты брось. Ни к чему это… О здравии надо.

Потом, наклонясь к самому ее уху, хотя возле никого не было, отец Ипат, улыбаясь живыми глазами, тихо заговорил:

– Вьюнош вернется, не горюй. А вот сам-то твой… Неладно чего-то… Уж очень он яро принялся. Соблазн.

Марья Кирилловна вынула платок и засморкалась.

– Знаешь что? – продолжал отец Ипат. – Только ты ни гугу. С глазу на глаз с тобой мы. Жаль мне тебя, Кирилловна.

– А что же, батюшка?

– Ведь сам-то, – совсем тихо стал говорить отец Ипат, – сам-то разводиться с тобой хочет. Да ты не сморкайся, погоди… Не плачь, ради Христа… Ну, да это ему не удастся… Врет! Законы на этот счет у нас крутые: «Аще Бог сочетал, человек да не разлучает». А все-таки упреждаю. Ухо востро держи.

Не старые, совсем еще не старые ноги Марьи Кирилловны – ей всего тридцать шестая осень шла – подгибались по-старушечьи, когда она брела домой от отца Ипата. В душе копилась злоба, но душа ее подобна решету: вся злоба иссякала тут же, вместе со слезами: лишь горе оседало на донышко, капелька по капельке росло, росло.

Подошла к дому, смотрит: два мужика ведут в крыльцо пьяного Петра Данилыча.

– Господи, ни свет ни заря! – всплеснула Марья Кирилловна руками.

– Это со вчерашнего, – улыбаясь рыжей бородищей, пробасил Силантий, растреклятой Анфисы сосед-шабёр.

– Эх, Петр Данилыч, Петр Данилыч! – укорчиво начала Марья Кирилловна, когда вдвоем осталась с мужем.

– Ну! Заныла, зубная боль…

– В доме зеркало треснуло, погляди-ка… Примета самая худая… Прошенька-то наш, Господи…

– Молчать! – крикнул Петр Данилыч, покачиваясь среди комнаты. – Не в Прошеньке тут дело… Вот ты-то когда сдохнешь, зубная боль, ты-то?

– А что я тебе, поперек дороги?

– Да! Прочь с моей дороги! Ух ты! – Он замахнулся грузным стулом под чехлом. Марья Кирилловна выбежала вон, и купец со всего маху пустил стул в зеркало:

– Нна!! Вот тебе твоя примета!

И под звон посыпавшихся осколков крикнул:

– Водки! Огурцов! Эй, Илюха!

Приказчик, как из-под земли, вынырнул из коридора и, услужливо лебезя пред хозяином, повел его.

– Ты куда меня, в спальню?

– Так точно. Потому вам надобен полный покой и отдых, как в благородных, воспитанных домах.

– Хе-хе-хе!.. Ну, ладно, Илюха… Ты молодец у меня. Ты признаешь во мне полного коммерсанта? А?

– Господи, с такими-то капиталами?! Как же иначе может быть? Вы в нашем городу были бы без малого первым… Пардон.

Купец, самодовольно оглаживая бороду и прикрякивая, сел на кровать:

– Разувай!..

Приказчик подобрал манжеты и с брезгливой миной, которую он старался скрыть в масленой улыбке, стал стаскивать измазанные свежим навозом сапоги.

– Ишь ты, кудряш какой! Ты, Илюха, счастливый… Кудрявым, говорят, везет.

– Вполне ясно, Петр Данилыч… Ужасно мне везет. Пардон.

– Та-ак. С Покрова еще прибавлю тебе пятерку в месяц. А ежели в мой антирес войдешь, сразу четвертную надбавлю. Министром станешь жить! Понял?

– Мирси. А в чем же ваш антирес будет состоять?

Хозяин поднял на него припухшие глаза и хрипло засмеялся.

– Так я тебе, дураку, и сказал… Не маленький, поди. Можешь сам догадаться. Эх ты, раскудрявая твоя башка со вшами!

– Мирси, – ухмыльнулся Илья, вытирая о ковер испачканные руки. – Больше ничего не изволите приказать? – и пошел к двери.

– Стой, погоди! Вот что: слетай единым махом к Анфисе Петровне и выразись ученым манером, что так, мол, и так, что хозяин, мол, кутил всю ночь с немцем-мельником, что, мол, о сыне скучает… Нет, этого не надо… А что, мол, желает ей покойной ночи… Понял? Ну, как ты это все сопоставишь, а?

– А очень просто, – откашлялся Илья. – Его степенство, господин коммерсант такой-то, шлет…

– То есть как такой-то?.. Ах ты сволочь!..

– Дак это же, Петр Данилыч, только так говорится… Провозглашу, как архиерейский дьякон, полный почетный титул ваш. Ну, а почему же вы насчет времени изволили сбиться, осмеливаюсь доложить? Приказывайте сказать госпоже Козыревой покойной ночи, а теперича у нас самое настоящее утро, и снежок идет… Пардон…

– То есть как утро? Что ты мелешь?

– Полный факт. Комментарии излишни…

– Давай в таком разе сапоги… Надо магазин отворять.

– Что вы!.. Ложитесь спать… Вам требуется освежить все мозги сонным положением. А я, как бог Саваоф, сейчас спущу шторы, и будет ночь.

– Хы, черт какой!.. Ну, действуй, коли так…

Только приказчик за дверь:

– Стой, вернись! – вскричал купец каким-то поглупевшим голосом. – А что, Илюха, тебе моя баба нравится?

Тот вспыхнул и наморщил лоб.

– То есть которая, Петр Данилыч?

– Дурак какой ты, Илюха! А? Ну, ступай теперя… И ежели аппетит есть, ничего, действуй… Соблюдешь мой антирес – озолочу. А каков этот самый антирес, кумекай сам.

Оставшись один, Петр Данилыч то вздыхал, то улыбался. Взгляд его скользнул по образу, где помигивал в белой полутьме огонек лампадки, и купец вдруг засопел:

– Прошка, голубь!.. Спаси тебя Христос.

Через все его лицо катились слезы.

14

В два ясных дня согнало с берегов весь снег, и Угрюм-река синела под солнцем холодным блеском.

Путники все еще не могли изжить того острого ощущения, что, словно ножом, полоснуло их при спуске через порог.

– Жжжи! – и нету, – улыбался Ибрагим.

Все еще в ушах мерещился рев диких волн, и неостывшие души путников были под обаяньем чуда.

– Напролом пойдешь – всегда цел будешь. Забоишься – пропал твоя… – поучал черкес.

Солнце и торопливая быстрина реки делали свое дело. Вера в успех была очевидна. Что ж, еще каких-нибудь недели три и – город Крайск. Черт возьми, как все-таки хорошо, как радостно жить на свете.

– Хватит ли нам припасов, Ибрагим? Пороху, дроби совсем пустяки.

– Хватит…

Тихим вечером закат был красный с желтыми закрайками.

– Ветер будет, – сказал Ибрагим. – Примечай.

Действительно, с полночи разыгрался ветер. Пришлось причалить шитик крепко-накрепко: волны с плеском ударяли в его борта, и тайга по берегам шумела.

Продрогшие путники пробудились рано. На песчаных отмелях крутил песок, словно зимней порой вьюга, и вся река – в свирепых беляках.

– Встречный!.. Вот это дрянь, – сказал Прохор.

– Проплывем плесо, может, повернет река.

Небо было безоблачно. Угрюм-река мощна.

Шитик взял на самую середину. Ветер бил прямо в нос. Течение под ветром как будто остановилось, путники еле подавались вниз.

После сильной часовой работы Прохор взглянул назад: сизый дым от костра совсем близко. Черкес сошел с кормы и тоже сел в греби. Шитик пошел ходчее. Но вот миновали шиверу с торчавшими камнями, и дальше началось тихое плесо. Шитик почти остановился. Ветер, бушуя, рвал с налету. Мачта дрожала, хлестал и трепался на ней красно-белый флаг. Было нестерпимо холодно, ветер с шумом врывался в рукава и хозяйничал под одеждой, охлаждая тело.

По прибрежным кустам путники заметили, что шитик гонит встречь течения.

– Взад идем. Налегай, Прошка! – Но не хватало сил, шитик настойчиво влекло обратно.

– Попробуем бечевой.

В лямку впрягся Ибрагим и, падая на ветер, побуровил шитик.

Прохор пытался разжечь сделанный в носу очаг, чтобы согреть онемевшие руки, но тщетно: ветер задувал огонь.

С приплеска несло песок, больно стегало в лицо, ослепляя воспаленные глаза. Защурившись и низко опустив голову, Ибрагим напряг всю силу, дышал, как конь, но шитик подавался туго.

– Ну-ка ты, Прошка!.. Устал. – Он бросил лямку и, шатаясь от изнеможения, пошел к шитику. Его одежду полосовал ветер, и концы белого башлыка, как две седые косы, стлались по воздуху горизонтально.

До самого вечера без толку бились на одном и том же месте. На другой день то же: солнце, ураганный ветер, беляки. И тайга шумела угрожающе. В путь не выходили: напрасный труд.

На третий день то же.

Вместе с остатками сухарей, крупы и пороха уверенность в успехе пропадала, наяву стал сниться нехороший сон…

В пятом дне пробовали вывести шитик на середину. Трещали крепкие весла, скорготали, как нежить, холодные уключины. За шесты взялись, со всех сил упирались в дно, шесты гнулись в дугу, но вода была густа, как тесто, и упруга. У черкеса с треском обломился шест, и он плашмя упал в ледяную воду. Этим кончилась попытка. Снова костер на берегу, злоба в сердце и пробудившееся тайное отчаяние.

Подбадривали друг друга:

– Ничего… Вот кончится ветер, полетим стрелой.

– Нычего. Нэ робей!..

Но глаза откровенней языка. Прохор спрашивал черкеса глазами и получал немой ответ: «Плохо, Прошка!»

Мучительная неделя кончилась. И, как садиться солнцу, – ветер стих.

И, радость за радостью, – сон на веселое пошел: вдруг увидали оба – стоит у воды, возле залома, в меховой парке тунгус.

– Бойе, милый, здравствуй! – чуть не плача от радости, вскричал Прохор.

– Здраста, твоя-моя…

Тунгус пожилой, безусый, сзади болталась черная косичка, глаза удивленно-испуганно щурились на подошедших.

– Ты реку хорошо знаешь?

– Знай… Наскрозь знай… Да-алеко!.. Конец знай…

– Когда мы выплывем? – спросил Прохор и, затаив дыханье, ждал.

– Не выплывешь. Вот маленько, и все заморозится… Кирепко.

– Как же нам быть? – робкий задал Прохор вопрос.

– Вылазь… Перезимуешь. Пойдем тайгам… Эге…

– Мы плыть хотим! – крикнул Прохор.

– Сдохнешь, – спокойно сказал тунгус и стал усиленно раскуривать трубку.

– Ведь недалеко?

– Да-а-леко. Мороз ужо, синильга. Пурга… Эге… Самый смерть.

– Проводи нас до Крайска. Сколько хочешь дам.

– Нет… Моя не хочет… Мало-мало дожидай весна, тогда можно… Вода большой живет, бистерь… Пять дней допрет. Крайск на другой реке стоит.

– Бойе, голубчик, ну, милый, – нежно заговорил Прохор, взял тунгуса за рукав, ласково, по-детски смотрит в его узкие, прищуренные глаза. – Бойе, мать у меня там на родине… Отец… Мать умрет, подумает, что пропал я. Ради бога, бойе, проводи нас.

– Нет, моя не хочет.

– Зарр-эжу!! – вдруг гаркнул черкес и, схватив тунгуса за шиворот, взмахнул кинжалом.

Тунгус сразу на землю и, обороняясь, заслонился вскинутой рукой.

– Иди!

– Куда тащишь?

– Иди!

За ужином ничего не говорили, на душе у двоих был праздник, у третьего зачинался страшный сон. Тунгус не притронулся к пище.

– Нэ скучай, Прошка, – тихо ворчал Ибрагим, подталкивая юношу в бок. – Доведет… Реку знает. Приказать будэм.

Тунгус свирепо на них посматривал, озирался на утонувшую во мраке тайгу, посвистывал призывным посвистом и что-то зло бубнил. Прохор пробовал заговорить с ним, но тот тряс головой: «Моя не понимает», – и упорно молчал. Черкес уложил тунгуса спать, он крепко скрутил назад его руки веревками и привязал к стоявшему у самого костра дереву:

– Попробуй убеги теперича. – И вновь погрозил кинжалом: – Эва!.. Цх!..

Темно-бронзовое лицо тунгуса плаксиво морщилось, он пофыркивал носом и говорил сердито, отрывисто:

– Пошто злой?.. Кудо злой… Пошто мучишь! Эге…

– Эва! – грозил черкес кинжалом.

– Доплывем, бойе, до Крайска, всего тебе дам: чаю, сахару, пороху…

– Дурак!! – крикнул тунгус и весь ощетинился, как рысь. – Дурак!! Как моя назад попадиль будет?! Баба здесь, олени здесь, все здесь… Пожальста, отпускай, пошто крепко путал? Тьфу!

Он рвался, грыз зубами веревки и в бессильной злобе горько завыл на всю тайгу.

– А это видышь? – сказал Ибрагим плутоватым голосом и, прищелкивая языком, стал наливать спирт в синий пузатенький стаканчик.

Тунгус вдруг смолк, глаза заблестели, и – словно сбросил маску – заплаканное лицо его во всю ширь заулыбалось:

– Эге! Винка! Винка! Дай скорей! Дай твоя-моя… Само слядко. – Он весь, как горький пьяница, дрожал, пуская слюни.

– А поведешь нас?

– Поведешь! Как не поведешь. Твоя-моя… Само слядко. Давай еще скорей!..

Как не поведет, конечно, поведет… Вот только утром он сходит в свое стойбище, захватит с собой припас, захватит ружье, велит бабе одной кочевать, велит ей белку, сохатого бить… Поди, он тоже человек, он понимает… Как это можно людей бросить наобум: тайга, борони

бог! Неминучая смерть придет, никуда отсюда не выйдешь, смерть. А в Крайске ему все знакомо: купцы знакомы, чиновник знаком, еще самый главный начальник знаком, Степка Иваныч… у него пуговицы ясны, усищи во какие, сбоку ножик во, до самой земли!.. Очень хорошо знаком ему Степка Иваныч, главный, имал, хватал, пьяного за ноги в тюрьму волок, по мордам бил – пилицейской…

Ибрагим улыбался. Прохор хмурил лоб и, разглядывая болтливого тунгуса, был неспокоен. Ибрагим угощал тунгуса спиртом, сам пил; угощал его чаем, кашей, сам ел. Подвыпивший тунгус сюсюкал, хохотал; он очень богат, все это место – его, и еще двадцать дней иди во все стороны – все его… Оленей у него больше, чем в горсти песчинок… Он князь, он в тайге самый большущий человек… Но все-таки на ночь еще крепче прикрутили его к дереву и завалились на берегу спать у пылавшего костра.

– Ну, теперь нам не страшно, Ибрагим. Трое… Тунгус знает реку. Да ежели и зазимуем где, ему известно тут все. Ибрагим, дорогой мой, милый!..

– Ничего, кунак, ничего. Теперича хорошо.

– Матушка… Эх, матушка!.. Как она обрадуется. Вот-то заживем. Ибрагим!..

– Заживем, джигит…

– Окрепну годами – буду богатый, знатный… Буду честно жить.

– Знаю, богатый будышь, знатный будышь… Честный – трудно, Прошка.

– Буду!.. А приедем в Крайск, пирожных купим… Сто штук, Ибрагим!.. Очень я люблю пирожные…

– Шашлык будым делать… Чурэк печь. Пилав любым. Чеснок класть будым, кышмышь.

Сон черкеса крепкий, непробудный. Прохор слышал во сне звуки: пели, спорили, бранились и вновь пели стройно безликие, звали куда-то Прохора, и сладко-сладко было слушать ему девьи голоса.

– Шайтан!!

Прохор вскочил и осмотрелся. День. Костер горит вовсю.

– Убежал, шайтан! – Зубы Ибрагима скрипели, рука яростно хваталась за кинжал.

Прохор взглянул на крепкие болтавшиеся на дереве веревки и вдруг невыносимую ощутил в сердце боль. Он больше ничего перед собой не видел. Он еще не знал, что зимний нешуточный мороз сковал в ночь реку и шитик – единственная надежда путников – вмерз в толщу льда.

Прохор встал с земли и молча, нога за ногу, поплелся на утлый свой корабль. Он не почувствовал, как его, разогретого палящим теплом костра, вдруг охватил мороз. Юноша, словно лунатик или умирающая кошка, бессознательно залез под крышу, в самый угол шитика, уткнулся головой в мешок, где леденели жалкие остатки сухарей, и горько, взахлеб, заплакал.

15

Весь день Ибрагим рыскал по тайге. Никаких следов человеческих, ни остатков тунгусского стойбища: коварный тунгус – как в воду.

Тайга была безжизненна и молчалива, даже белок не видать. Мороз крепчал, щипало уши – Ибрагим туго завязал башлык. Как дикий олень, не зная отдыха, он перемахивал огромные валежины, продирался сквозь непролазные заросли – тайга пуста, Ибрагим пал духом. Ниоткуда не ждал он теперь спасения: пороху нет, спичек нет, пища на исходе. Как быть? Назад идти, в Ербохомохлю? – Добрых полтыщи верст – дурак пойдет. Вперед? – Неведомо куда. Сидеть на месте – дожидаться тунгусов? Но беглец со страху, наверно, увел их всех на край света.

Измученный, черкес вышел на берег. Желтели и краснели осенние кусты, с осин тихо сыпалось золото листьев, и, словно летом, зеленела кругом тайга. Но шумная Угрюм-река скована морозом, ледяной хрустальный гроб закрыл над ней крышку до весны.

Ибрагим с высока яра кинул в реку грузный камень. Лед от ушиба побелел, но не сломался, и камень, крутясь, заскользил, как по маслу, по ледяной коре.

– Цх! Плохо…

Белки его глаз окрасились желтым, щеки втянулись, неестественный оскал зубов придавал лицу выражение крайней растерянности.

Да, пожалуй, все кончено. Но ни слова, ни намека Прохору. Черкес знает, что с ним делать. Сначала Прохора, потом и самого себя…

Ибрагим любовно и трепетно, с неколебимым религиозным чувством взглянул на рукоятку своего неизменного товарища кинжала и быстрой, легкой походкой пошел лоснящимся льдом к шитику.

Весь вечер, всю ночь, весь следующий день валил хлопьями снег, и земля на аршин покрылась сплошным сугробом. Ночью где-то близко не переставая ухал филин; он бормотал студеную зимнюю сказку, наводя жуть на одиноких, ожидавших своей участи существ.

Прохор, с головой укутанный буркой Ибрагима, тихо дремал. Тот несчастный день, когда бросил их тунгус, не прошел для Прохора даром: его трепала лихорадка.

Черкес сердит и мрачен. Черт! Надо было бы ограбить тунгуса, отнять от него меховую парку. Если б попался он теперь, черкес вместе с паркой содрал бы с него живую кожу. Кровь? Пусть кровь. Вот он, Ибрагим-Оглы, сидит в одном легком бешмете среди снегов. У костра тепло, но как пойти за топливом? Коченеют руки, мороз насквозь режет ножами тело. О, если б встретить тунгуса, сотню тунгусов! Если тайге нужна жертва, всех их уложил бы вот этим кинжалом. Как шапки подсолнуха, полетели бы с плеч косматые головы, только б жив остался его молодой джигит. Но джигит стонал, и час от часу ему становилось хуже…

– Ибрагим, голубчик… Дай еще хины!.. Укрой меня.

Так шли дни за днями, длинные, бесконечные. Сыпал не переставая упрямый снег, словно там, на небесах, бесповоротно решили завалить тайгу сугробами до самых до вершин. Ибрагим с ожесточением и тайным проклятием отгребал снег широкой лопатой. Вскоре возле их стойбища воздвигся высокий, как крепость, снежный вал. У черкеса – бешмет, более теплой одежды не было. Плотно укутанный башлыком, из-за которого торчал кончик побелевшего носа и левый глаз, черкес, изнемогая от труда, потел. Но крепкие кисти рук зябли, распухали от холода, когда же отогревал их у огня – болезненно ныли.

С большим трудом он оттаял над костром брезент и кое-как смастерил шалаш вроде чума. В этом игрушечном убежище с отверстием вверху костер давал много дыма. Ибрагим плакал и кашлял, Прохор задыхался. Когда же отпахивали полу брезента, чтоб освежить воздух, в чум вползал мороз. Ибрагиму мучительно хотелось есть. Но есть нечего. Остатки крупы он берег для Прохора, сам сгрызал в день по небольшому сухарю и пил бесконечное количество кирпичного чаю.

– На-ка, джигит, кушай… Каша первый сорт. Ашай больше, крепка будышь!

– А сам-то?

– Сыт… Ешь, нэ жалей… У нас всего много.

Ибрагим украдкой сглатывал слюну, когда же Прохор нырял под его бурку, черкес ляскал зубами, как оголодавший барсук.

А между тем время медленно ползло. Могильный снеговой курган возле палатки быстро рос. Границы между томительными днями стерлись – серая ночь неслышно сменяла серый снежный день.

Прохор поправлялся туго. Дух Ибрагима все гуще погрязал в унынии. Кругом чувствовалась смерть, и ее глухой неотвязный скрежет неуемно глодал живучую душу человека. В помутившихся отупелых глазах черкеса то застывала смертельная тоска, то вдруг рождалась непреклонная воля жить. Тогда весь он загорался нервным пламенем, суетливо надевал самодельные лыжи, выползал на божий свет и, изнемогая от холода, елозил изголодавшимися ногами по пуховому покрову зимы в надежде поймать нить жизни, которую авось подбросит ему судьба. Но темная тайна смерти бросала в его сердце лед: кругом мертво и пусто. Убитый, раздавленный, возвращался черкес домой, залезал под могильный холм и долго, бесконечно долго сидел угрюмый, неподвижный, тупо посматривая на бредившего во сне Прохора.

Когда вышли все припасы, черкес равнодушно сказал юноше:

– Ну, теперича давай, Прошка, умирать. Пропали мы, Прошка!

Прохор недоуменно уставился взглядом в костистое, неузнаваемое лицо товарища, что-то хотел сказать – язык не повиновался, хотел заплакать – не было слез. Подбородок его запрыгал.

– Матушка… Милая моя матушка!..

Он залез под бурку, молча лежал там скорчившись. Сморкался.

Вдруг черкес вскочил и, как ночная кошка, внезапно скрылся из палатки. Чуть-чуть хрустнуло и вздохнуло вдали. Черкес наострил душу. В небе леденел мутный лунный круг. Была тишина. Темная, неясная тень виднелась у опушки леса.

С холодным кинжалом в крепко стиснутых зубах черкес кровожадно полз вперед, барахтаясь в сугробах. «Лось, сохатый», – играло в его мозгу. Задрав вверх большую голову с ветвистыми рогами, лось глодал кору молодых осин. Близко. Глаза черкеса налились кровью, стали остры, как кинжал. И по клинку отпотевшего зажатого в зубах кинжала текла слюна. Лось стоял боком к черкесу. Из ноздрей струйками вырывался пар. Слабый ветерок дул со стороны животного, и лось не мог унюхать подползавшего врага.

Черкес наметил место пониже левой лопатки и, ринувшись вперед, всадил кинжал по самую рукоятку в сердце оплошавшего зверя. Одурелый раскатистый крик на всю тайгу, саженный скачок черной тени вверх, удар копытом, чей-то дьявольский хохот, бубенцы – и все помутилось в глазах черкеса. Вместе с тяжким стоном он едва передохнул и потерял сознание.

Очнувшись, быстро ощупал руки, – они теплы. «Ага, недавно, значит». Кольнуло в правый бок. Черкес шевельнулся и вскричал: режущая боль полоснула ножом по нервам. Он засунул руку за обледенелую ткань бешмета, ощупал бок. Ребра целы, но рубаха взмокла в липкой крови. «Ага, копытом хватил, шайтан!.. Адна пустяк…»

Пахло снегом, схваткой, пахло смертью.

«Зверь! Где зверь?» – мгновенно проблеснуло в голове и сразу утолило боль. Луна так же мутна и улыбалась. Черкес поднялся, крепко сдавил ладонью правый бок и, согнувшись, пошел по следу. Сугроб глубоко взрыт, и вместе с мохом был расшвырян снег.

На прогалине, задрав вверх задние ноги, весь изогнувшись в корчах, валялся убитый лось.

– Якши! Якши!! – тихо, жутко, как помешанный, захохотал черкес и поспешил назад, к палатке. Дорогой не раз останавливался и коротко стонал.

– Прошка! Живы будем! Пятнац пуд говядины есть!.. Шашлык есть, сало есть! Цх!

Прохор маятно поохивал под буркой, не отвечая.

Грязным полотенцем черкес туго забинтовал себе грудь и вновь ушел в тайгу. Перед утром вернулся с большим куском мяса и пушистой шкурой.

Весь день, не угасая, горел огонь, вкусным духом дымился котел с крепким мясным наваром. Прохор вяло глотал горячую пищу. Ибрагим же ел алчно, до одурения. Глаза его стали маслеными и, как у объевшегося зверя, сладко щурились; он громко рыгал. Опять настала ночь.

Сон черкеса крепок, непробуден: поднявшийся в ночи дикий вой и грызня были не в состоянии прервать его. Зато Прохор, выставив из-под бурки отуманенную бредовым сновидением голову, долго прислушивался к странным звукам: буря ли, черти ли на кулачки бились, – и никак не мог понять, что происходит там, в тайге.

Наутро Ибрагим, едва проснувшись, вновь принялся за еду. Изголодавшееся тело ненасытно требовало пищи. Железные челюсти черкеса работали мерно, сосредоточенно. Накормив Прохора крепким супом, он стал выделывать кожу зверя, мял, крутил ее и клинком кинжала скоблил грубую мездру. В боку была нестерпимая боль, от которой сыпались из глаз искры. Но черкес, скрипя зубами, сдерживал стон, чтобы не тревожить Прохора. Он говорил:

– Вот, кунак, будет тэбэ шуба… Нытки есть, игла есть. Якши… Теперича, кунак, холод нам – тьфу! Мясо есть. Поправляйся, кунак, да и в путь… Прямо пойдем, тунгус найдем… А нэ найдем – тьфу! – сами выйдем.

Прохору хотелось крепко-крепко обнять этого горбоносого, с большим лысым черепом и густыми, лохматыми бровями человека.

– Никогда не расстанусь с тобой… Ежели б не ты, смерть бы мне… Теперь знаю, что такое верный друг.

Сегодня Прохору лучше. Побежденная молодой силой, болезнь входила под гору. Прохор повеселел. Вот окрепнет, наберет здоровья, и черт ему не брат. Смастерят с Ибрагимом нарты, нагрузят лосиным мясом и марш-марш вперед.

– Ура, Ибрагим!

Под вечер черкес кой-как кончил шубу.

– На-ка, получай бобра… Все равно – енот, все равно – лис… Давай бурка мне, ха-ха – теперича мороз тьфу! Разводи костер, сейчас мяса принесу; лосиный губа будэм варить, почка в сале жарить. – Черкес от удовольствия зажмурился и смачно сплюнул. – Пойду.

Прохор надел сшитый на живульку лосиный длинношерстный тулуп и, как матерый, вставший на дыбы, медведь, выполз из своей маленькой тюрьмы. Он давно не выходил на белый свет и сразу захлебнулся свежим морозным воздухом. Глаза юноши воспалены от дыма. Болезнь глубоко вдавила их в орбиты, отчего на лице его легла печать какой-то особой, выстраданной душевной чистоты.

Он шагнул за высокий снежный вал и огляделся. На земле и в небесах чужая, холодная зима. Деревья как нежить – белы, мохнаты, в инее. Они жались друг к другу и с тайным страхом смотрели из-под белых пуховых ветвей на человека; вот шевельнется человек, вот крикнет, и они распадутся в белый прах. Но человек стоял неподвижно, молча. Он никогда не видал белого, серебряного леса, и взор его застыл в благоговейном созерцании. Белый кудрявый лес, белая даль, белесое, чуть позеленевшее на западе небо. Белый месяц яснел и серебрился, словно неведомая рука торопливо счищала с него ржавчину. И кто-то стал швырять в небо бледные звезды, сначала скупо – по две, по три, потом целыми горстями, как пахарь новое зерно.

Когда обманные алмазы замерцали по всему простору и заискрилась снежная даль, Прохор очнулся, вздрогнул от бодрящего холода и вновь ушел в палатку к красноязыкому костру.

– Экая благодать, тепло как в шубе-то! – сказал он, раздеваясь, и сердце его наполнилось нежной благодарностью к угрюмому черкесу. – Почему же нет его? Не случилось ли что? – спросил он смолистую чурку и, не получив ответа, бросил ее в пламя.

Рука потянулась к записной книжке. Пальцы перевертывали исписанные страницы, взгляд рассеянно скользил по ним.

«1898 год. Кажется, конец октября. Число неизвестно», – низко наклонившись к огню, стал записывать Прохор. «Вот моя болезнь как будто прошла. Я снова помаленьку оживаю. Может быть, ты, матушка, помолилась обо мне? Не тоскуй, скоро свидимся. Так хочется поскорей обнять тебя. Хоть на бумаге поговорю с тобой, милая. Я так далеко от тебя, что грохай

в царь-пушку, не услышишь. Жив я, жив, матушка! Отец, я жив!! Не скучайте. Вот напишу страницу, вырву и пошлю к вам с ветром. Или сам явлюсь во сне. Матушка, почему ты мне не снишься? Ибрагим, друг мой! Ты убил сохатого. Мы умерли бы от голода – я ведь знаю, что запасов нет. Что ты ни говори мне, Ибрагим, голубчик, я знаю, что крупа вся, сухари все. А теперь мы, слава богу, сыты. Мяса хватит нам на полгода. Матушка, ура! Кричи – ура! Твой мальчонка жив-живехонек. Вот приедем к тебе и будем пить чай со сдобными пирогами и вареньем. Покойной ночи, матушка! Кажется, идет мой избавитель, верный друг и слуга».

Действительно, за палаткой послышалось кряхтенье. Отпахнулась пола, вполз Ибрагим. Он сел к костру, обхватил руками колени, сгорбился. Прохор взглянул на него. Глаза черкеса были мутны, блуждали, и вся его сжавшаяся, пришибленная фигура сразу внушила Прохору тревогу.

– Что случилось? – тихо спросил он, пугаясь.

Черкес молчал. Размотал башлык, снял мохнатую папаху и сидел перед костром, втянув голову в плечи.

– А где же мясо-то?.. Ужинать бы.

Черкес все еще молчал, растерянно сплевывал в костер, наконец проговорил глухим, неверным голосом:

– Нэ нашел я лося.

– Как!

– Чего кричишь? Нэ нашел, говору… Нэт… Тэмно стало… Завтра.

Прохору очень хотелось есть.

– Свари, Ибрагим, каши.

– Нэт каша! – крикнул Ибрагим с желчью.

– Ну, дай сухарей… Чай скипяти.

– Нэт сухарь! Нэт чай. Ничего нэт. Вот две спички есть, спалим – чего станем делать?

Он говорил, словно ругался, отрывисто, резко и каждую фразу подчеркивал свирепым, сыскоса, взглядом в сторону Прохора. Нежное чувство, которое Прохор питал к нему, вдруг покоробилось, и Прохору стало до боли обидно.

– Почему ты сердишься? Ты болен? – тихо, но укорчиво спросил он.

– Нэ твое дело!

Костер уныло потрескивал, по стенкам палатки ползли бестелесные тени, куча обглоданных костей валялась возле опустошенных сум.

– Спи! – приказал черкес. – Завтра будэм на воле… Завтра все будэт… Сегодня – спи! Крепко спи… – Он вздохнул и, закрыв глаза, уперся лбом в колени.

Сердце Прохора захолонуло, охнуло. Мрачное предчувствие вгрызалось в душу. Он не решался выспрашивать Ибрагима до конца. Да и зачем? «Спи!..» Как уснуть в этот подлый час? Что будет завтра? Неужели тайга раздавит их?

Прохора стала бить зябкая дрожь. Сначала застучали зубы, потом судорога прокатилась от плеч через все тело, к ногам: он трясся весь и подпрыгивал, не в силах совладать с собой. Плотно, с головою он укрылся лосиной шубой, от которой несло кислятиной и перепрелым мхом. Но дрожь продолжала трепать его с той же силой.

«…Нет, не может быть, не может быть. На Ибрагима просто что-нибудь нашло. Завтра все разъяснится, завтра они бодро тронутся в путь. Вперед, на запад, к Крайску!.. Фу ты черт… Почему так меня всего кострячит? Горячего бы чаю кружку… С ромом. Ужасно хочется есть. Эй, Ибрагим!»

Под шубой тепло и глухо.

Плывут над тайгой минуты и часы, заглядывают минуты под шубу, и каждый миг вырастает в час. Бесконечно длинно тянется время. Что-то среднее между сном и бодрствованием,

что-то тяжелое, нудное шевелится под шубой, гнетет юную голову, сосет испугавшееся сердце. Может быть, утро? Или еще ночь не кончилась?

«Волки».

Серые, тощие, изогнувшиеся в три погибели, сверкая голодными глазами, воют волки. Семь волков.

– Волки! – вскрикнул Прохор и очнулся. Он чуть приподнял шубу, замер. Заливчато заводил дикий, одинокий волчий голос, потом, отрывисто тявкнув, подхватывала вся свора. Где-то близко, совсем близко. «Они сожрут коня. Они сожрут всех коров, овец, телят. Что ж думает отец?.. Эй, вставайте!..»

– Волки! – опамятовался Прохор, сбрасывая шубу и озираясь на убогий холст намозолившей глаза палатки. – Ибрагим… Волки… Они сожрут нашего лося… Эй!

Ибрагим все так же сидел перед костром, скрючившись и уткнув лицо в ладони. Вот он приподнял голову и сказал, посмотрев юноше в лицо:

– Спи, кунак. Это нэ волки. Волк нэт в тайга… Это ветер. Спи.

– Что случилось, Ибрагим? Почему ты говоришь, как плачешь? И глаза у тебя такие… А?

– Мой нэ плачет. Врешь ты. Мой никогда нэ плачет.

Он засопел, засморкался и вышел наружу.

«Волки, – твердо решил юноша. – Вот оно что… В тот раз выли, теперь опять… Сожрали мясо. Вот почему такой убитый Ибрагим…»

Волчий вой то отдалялся поднявшимся ветром, то был слышен близко, визгливый, остервенелый. Прохору чудилось, что в звериное завывание вплетается жуткий человеческий стон. Нет, это гудит в ушах, это болезнь в голове ходит; конечно же Ибрагим не будет так стонать. Палатку трепануло сильным ветром. Облако снега, крутясь, ворвалось в дымовое отверстие. Вдруг загудела тайга. Вошел Ибрагим, твердый, решительный. Две глубокие складки лежали меж разметавшихся бровей, губы плотно сжаты.

– Вьюга. Пурга идет, – отрывисто сказал он. – Ничего, крепись, джигит. – Он подсел на корточках к Прохору, положил руку на его плечо и с трогательной нежностью стал глядеть в глаза его.

– Что, Ибрагим, милый?.. Плохи наши дела?

– Якши…

– Яман?

– Якши, якши! Бок – яман… Больно… Кость мозжит, рэбро… – Ибрагим засопел, брови его поднялись выше, он устало закрыл глаза и ощупью, словно слепой, водил ладонью по голове и плечам юноши:

– Я люблю тебя, Прошка… Люблю… – Он выдохнул эти слова с мучительной скорбью, словно навек разлучаясь с Прохором. Люблю…

От волнения Прохор прерывисто дышал. Он поцеловал морщинистый, мудрый лоб черкеса и, против воли, прислушался к себе: вот все в нем сотрясается, мятется. И как агнец пред занесенным ножом, Прохор доверчиво смотрит на властителя своей судьбы. Но его сердце замирает, сердце что-то угадывает – страшное, неотвратимое, – которое слышится и в доносившемся тявканье голодных зверей, и в нарастающем злобном гуденье леса.

– Спи!.. – сказал черкес вновь отвердевшим, решительным голосом. – Крепко спи, не просыпайся.

И от костра еще раз крикнул укладывающемуся Прохору:

– Прощай, Прошка!.. Прощай, джигит… Прощай!..

«Что значит – прощай? Почему – прощай?» – силился спросить Прохор и не мог.

С открытыми глазами Прохор лежал под шубой. Мысли мелькали мрачные, короткие, торопливые, как взмахи крыльев быстролетных птиц. В шуме, в говоре тайги родились эти

пугающие мысли; в шуме, в визге и в грохоте они докатывались до сердца, опустошали сердце, вырывали из сердца стон. Тоска была смертная. И все чувствования, все обрывки неясных полузвуков-полуслов кто-то собирал в крепкую горсть, как разрозненные вожжи взбесившейся шалой тройки, и больно осаживал, и разжигал, и требовал: «Есть». Неукротимый, сосущий голод.

«Есть!»

Но есть нечего. И завтра нечем обрадовать, обмануть желудок. А послезавтра?

«Прощай, Прошка… Прощай, джигит».

Черкес точил кинжал.

В шуме, в нарастающем гуле и говоре тайги Прохор чутко слышал – черкес точил кинжал.

Дзикающий, знакомый звук. Блестящий, холодный, пламенный, красный – этот звук ползет змеей под шубу, прищуривается и смотрит на Прохора стеклянным, острым, как комариное жало, глазом.

«Дзик, дзик… Прощай, джигит».

«Черкес наточит кинжал, убьет лося… Притащит лося в палатку… Костер, огонь». Прохор улыбается, грезит сладко и под дзикающий железный звяк падает в сон, в ничто.

Сталь клинка, древняя, как человек, устала жить, устала жить и душа черкеса, такая же древняя, как сталь клинка.

Черкес точил кинжал.

Надо острей. Пробует на волосок: нет, туп кинжал. Надо острей, острей. Воспаленный взор, мозг, душа – все в скрытом пламени, как подземный пожар тайги. Сталь белая, с желто-синим отливом по краям, сталь живая, премудрая, сталь верная в могущественной, убивающей любя, руке. Резкий, режущий взмах клинка – и…

– Ой, джигит, джигит!..

Капли пота катятся по горбатому носу, в черную, густо запущенную бороду. И когда Ибрагим с надсадой переводит дух, тугая пружина его души раскручивается, шагнувшая за пределы мысль охладевает, возвращается на свое место, и душа отчетливо видит то, чему не миновать.

Губы шепчут:

– Тебе легко будет, Прошка… А мне как? Ой, ой, Ибрагим-Оглы!.. Где твой Кавказ, где вино, виноград, пахучий миндаль? Алла-алла!..

Он поводит кругом мутными глазами, хватается за обмотанный бок, где ноет-мозжит разбитое ребро.

– Кто наслал тайге волков? Будь проклят! Кто нас бросил тут околевать? Будь проклят! Да еще, да еще. Трижды проклят! Цх!

Он уставился много видящими в этот час зоркими глазами на костер, на последний огонь в тайге, последнюю искру жизни. И вся его житейская судьба развернулась пред ним белым, захватанным сажей свитком. Нищий мальчишка – пастух чужих отар, там, у себя в горах Кавказа. Молодой, сильный джигит, первый из всех окрестных аулов наездник и стрелок. Бурная, как кипящая кровь, его любовь к черкешенке; он ее выкрал из-под двадцати замков и под свист разящих пуль примчал в свою нищую саклю, усыпанную цветами с гор.

Но вот белый свиток его жизни кружится, кружится, как на огне береста: черная сажа густо покрывает белизну, и жизнь черкеса становится холодной, как пепел остывшего костра. Священная месть, кинжал, кровь. И черкес, разлученный с родной женой, повенчался железным венцом – кандалами – с каторгой на целых десять лет. Голод, плети, кандалы, мрачные горы Акатуя. О, будь ты проклят, час рождения! За что? Где ты, жена? Где ты, старуха мать? Где ты, зеленый виноград, розы, горячее солнце, густые чинары, песни, пляски у костров при звоне кинжалов? Где ты, синяя лазурь, и молнии, и грохот грома в родных горах? Эх! Все прошло, как сон…

Грузная от дум голова черкеса никнет к сонному костру, трубка выпадает из разжавшихся зубов. Черкес хватается за сердце, стонет.

А за ледяной палаткой вторит ему лютым плачем ледяная вьюга, швыряет в костер острые снеговые иглы. Холодно. Костер потухает, спичек нет.

– Прощай, джигит!.. Прости меня, джигит… Спи крепко…

Черкес вскидывает голову, берет в зубы трубку, резким движением крутит кинжал над своей лысой головой и торчмя ударяет в воздух:

«Цх! Так, верно…»

Целует холодное лезвие и опускает в ножны. И вместе с кинжалом опускается в голые потемки вся душа его.

Спасенья нет. Тайге нет краю. Угрюм-река больше не подхватит их быстрый струг.

– Прощай, джигит!

Вдруг грозно и резко завыло все кругом: буря рванула с необычной силой. Убогую палатку, как мыльный пузырь, подхватило напором ветра и, яро хлопнув полотнищем, отшвырнуло прочь. Вихрь враз засыпал костер снегом, и стала тьма.

Лишь слышно было, как ревела пурга, как вырывала она с корнями деревья и с гулом валила наземь. Рявкали медведи, взлаивали лисицы, седобородый мороз кряхтел, выпрастывая краснорожую башку из-под корневища: «Ужо-ко… ужо… У-ууу…»

Могильный снеговой курган то ровняло с землей, то вновь нагромождало гору, нескончаемые бешеные вьюны крутились по всему миру, буря обламывала огромные ветви и птицей гнала их через пространство. Все смешалось в бесконечной кутерьме.

Черкес закашлялся, замотал головой – душила вьюга. Едва переводя дыхание, он нащупал кинжал и с отчаянной решимостью сбросил шубу с непробудно спящего джигита:

– А ну! – сверкнул кинжал…

Буря корежила деревья и, как траву сухую, с шумом, с воем мчала через реку их жалкие обломки. Бушующим ураганом пригибало к земле тайгу. Все кругом осатанело. Горе слабому, горе сильному, живому, кого застигла эта убийственная ночь.

Часть вторая

1

Красный, отекший, трясущимися толстыми пальцами, из концов которых, казалось, струился винный спирт, Петр Данилыч Громов вскрыл телеграмму и сдвинул со лба на глаза очки; Марья Кирилловна смотрела на него со страхом, вся тряслась.

– Вот так раз! – упавшим голосом сказал купец; щеки его дрогнули, теряли жизнь. – Пропал ведь Прошка-то наш!.. Вот так штука!.. От губернатора стафет…

Схватившись за голову, Марья Кирилловна с криком пала на колени, сунулась лицом в плюшевое кресло и заплакала надрывным плачем.

– Да стой ты! Стой! Выслушай, что пишет-то… Может, еще жив.

И громко стал читать прыгавший в руках – такой значительный и горький клочок исписанной бумаги:

«По донесенью отдельного пристава чрез Монастырь и окрестности путники не проплывали, не проходили. К розыскам можно приступить лишь в январе, когда на озерах будет ярмарка, инородцы протопчут оленями дорогу. 13013.

Вице-губернатор Нольде».

– Вот видишь? Да не вой ты, Марья! Ну тебя!.. Сказано: не проплывали, не проходили. Может, еще пройдут.

– Да где ж они? – подняла Марья Кирилловна скорбное, мокрое от слез лицо.

– Где же, где же?.. Бог его знает где… Может, назад вернулись. Вот Груздев не сообщит ли что… Либо Метелёв… На все божья воля… А вот что же означает цифра?

Он ушел в угловую комнату, где не так были слышны стоны Марьи Кирилловны, и, шагая взад-вперед, растерянно твердил:

– «13013»… «13013»… Что бы это такое значило? Протопчут олени дорогу. «13013»… Ничего не понимаю… Ах ты боже мой!

Он достал из пиджачного кармана плоскую флягу с водкой, отвинтил металлический стаканчик, выпил.

– «13013»… Может, им надо столько денег – этим тунгусишкам-то?.. Ну, нет-с… Дальше отъезжай! Пускай за свой счет протаптывают, ежели хотят. Ах, Прошка, Прошка!.. Боже ты мой милостивый! Дурак я, дурак. С каким лысым дьяволом отпустил парня – с поселенцем… «13013»… Надо позвать Илью.

На цыпочках, вывертывая пятки, низкорослый приказчик подошел к хозяину и несколько раз перечел телеграмму.

– Ну, как твое мненье, голова? – спросил Петр Данилыч.

– Мое мненье отличное, – встряхнул Илья кудрями.

– Например?

– Например, живы и здоровы. Где-нито у тунгусов в юрте резиденцию имеют. И никаких известий подать нельзя. Ежели с вороной али, например, с галкой – не примет. Я ж вам говорил. А весна придет, возьмут да и приплывут вроде циркуляции. Комментарии излишни.

– Хм! Ну так. А что означает «13013»?

– «13013»? – Приказчик кашлял в горсть, морщил лоб, хмурил брови. – Представьте себе, не могу дать ясный ответ.

– А ежели неясный?

– То есть не могу сообразить… Опечатка тут.

– А не просит ли губернатор денег? Дескать, на розыски? Я не дам.

– Как это возможно! Такую финансовую сумму отвалить – с ума сойдешь!

– Я не дам, – твердо сказал купец и выпил еще стаканчик.

Он долго одиноко ходил, посматривая на полыхавшую красным огнем печь и елозя по полу длинными, выше колен, валенками.

– «13013»… «13013»… Надо сходить к попу.

Он быстро налил третий, перекрестился, выпил.

– Вот оно дело-то какое… Ах ты боже мой!

Из густо замерзших окон глядел снежно-пуховый, в трескучем морозе, день.

…Петр Данилыч уехал в уездный город.

Анфиса осиротела. Ее сердцу безотрадно и тревожно. Зажалела она Прохора, крепко всплакнула о его лютой доле. Каждый вечер до глубокой полночи раскидывала Анфиса карты, пыталась далекую его судьбу узнать, и все плохая судьба выходит, винновая масть верх берет. Ой, ой, Господи! Надо бы сходить к Марье Кирилловне: наверно, сердечная, извелась вся, да как пойдешь? А вдруг не допустит, вдруг скажет: «Вон!»

Так в душевной невзгоде проводила она время, а Петр Данилыч мчал без передыху на перекладных.

– Бубенцы, слышь, парень, к черту. Мне не до бубенцов, – приказывал он ямщикам и всю дорогу был молчалив и мрачен.

Тоскующими глазами оглядывал он серебряную даль, выплывавшие из холодных туманов леса, полную, замкнувшуюся в широкое кольцо луну, – и всюду ему чудился Прохор: вот он несется по кипучим волнам Угрюм-реки; вот, сгорбившись под тяжкой ношей, скользит на лыжах по сугробам; вот изнемог, повалился, коченеет Петр Данилыч кряхтит, крестится:

«Святый апостол Прохоре! Не дай загинуть!..»

Но скрип полозьев говорит: «Прощай, отец… Проща-а-й…»

С такими гнетущими мыслями, в которых, как в море щепка, хлюпалась виноватая душа его, он свершил весь путь…

«Сибирские номера» – единственная в городишке гостиница, куда подкатили взмыленные в морозной ночи кони, помещалась в безобразном, как острог, сыром и холодном каменном здании. Нескладный, как ведерный самовар, керосиновый фонарь у входа, скрипучая с визгливым блоком дверь и гулкий сумрак в узком, пропахшем прелью коридоре.

– Эй! Кто тут есть живой? – крикнул Петр Данилыч и, не получив ответа, нарочно громыхая подшитыми кожей валенками, пошел по коридору. Тишина и мрак.

– Давай в номера грохать, – сказал он ямщику, и они оба с ожесточением начали тузить кулаками и ногами в каждый номер по очереди. Из одного номера грубый голос:

– Какого черта надо?!

– Где коридорный? – обрадовался Петр Данилыч.

– Я почем знаю!.. Дурак какой…

– Я спрашиваю, где коридорный!.. Не на улице же мне ночевать… Я приезжий купец, Громов…

– А вот я те выйду, так покажу купца Громова… Даже с каблуков слетишь! – сатанел за дверью голос. – Вот только дай мне штаны приспособить… Постой, постой!..

– Шляются по ночам разные, – неожиданно заверещала за той же дверью женщина. – Поспать не дают… Черти, дьяволы!..

Петр Данилыч обложил их по-русски и с проклятиями загрохотал в следующий номер. Но вот в глубине коридора заскрипела немазаная дверь, и пискливый голос позвал:

– Кто тут скандал производит? А?

– Мне надо коридорного, – двинулся на голос, с чемоданом в руке, купец.

– Кого? – вновь спросил выплывший из тьмы человек в накинутой овчинной шубе.

– Коридорного мне надо!

– Пошто?

– Номер мне требуется!

– Номер, что ли? То есть ночевать?

– Ну да.

– Ты один или с девочкой, раз-навсегда-совсем?

– Конечно, один! Я приезжий.

– Так бы и сказал. Номера у нас есть всякие… Тебе в какую цену? Есть в тридцать копеек. Есть дороже… Самый лучший, на две половины, рубль.

– Давай самый лучший!

– Шагай за мной, воспадин проезжающий! Да аккуратней, лбом не треснись… У нас тут балка обвалилась… Не можем никак плотника добыть. Тоже город!.. Это называется город… А сам-то хозяин в кутузку посаженный. Вторую неделю сидит. Потому как городскому старосте повредил в драке бороду и левый глаз. А ты откеда? Пошто приехал-то? Масло, что ли, привез? Али чиновник какой высокий? Может, лекарь? Не знаешь ли ты, чем золотуху выгонять? Один мне советовал калину, а бродяжка тут какой-то мыкался, тот велел яичное мыло с чаем пить. То есть напиться этак стаканов десятка полтора и – под шубу… Пропреешь, значит… Ну, я пробовал – душа не примает. С неделю блевал, никак. Думал, сдохну раз-навсегда совсем…

Гундосо жужжа, как надоедный шмель, человечек влек за собой купца. Вот поднялись они по какой-то тайной, с кривыми ступенями, лестнице наверх, ощупью пошагали мертвым коридором, наконец человечек остановился, сунул в руки Петра Данилыча оплывший огарок, вытащил из кармана допотопный ключище, которым можно уложить на месте любого волка, вставил его в личину и со всех сил принялся крутить. Но дверь не подавалась. Человечек растопырил ноги, зажмурился, оскалил зубы, отчего повязанное по ушам красным платком личико его приняло страдальческое выражение и, надсадисто пыхтя, тщетно выплясывал возле заклятой двери.

– Тьфу! – с остервенением плюнул он на правый сапог купца и пропищал: – А ну-ка ты… Ты поздоровше меня.

Купец засучил рукава, поплевал в пригоршни и, вцепившись в ключище, принялся на все лады крутить и трясти его, производя сильнейший грохот, словно телега скакала по камням.

– Ужо, воспадин проезжающий, я карасину притащу либо масла. Смазать надобно. Тогда сподручней. Ох ты господи! Из ушей-то у меня текет.

Пока он бегал, разъяренный купец свернул-таки ключу башку.

– Что ж нам делать?

Оба – человечек и купец – с недоумением, как два истукана смотрели друг на друга.

– Придется в другой номер, – присоветовал ямщик-парнишка.

– А и верно! – оба – купец и человечек – весело вскричали враз. – Чего ж мы сдуру-то пыхтим?

– Можно и в другой, – сказал человечек. – У нас свободных номеров сколь хошь. Только те будут попроще. Цена восемьдесят копеек серебром и неудовольствие от клопов раз-навсегда-совсем…

– Много клопов-то? – спросил потерявший терпение купец.

– Да не так чтобы, а есть… До смерти не зажрут…

Кислый, промозглый воздух шибанул купца. Он покрутил носом и сказал:

– Ну и каземат!.. Вот что: затопляй живо лежанку, ставь самовар и тащи мне ужин. Вроде щей что-нибудь, баранины, каши… Ежели пельмени имеются – тащи пельменей.

Человечек растерянно смотрел на него, прищуривая то правый, то левый глаз, и убитым голосом прервал:

– То есть сделайте полное одолжение, ничего такого у нас нет… И куфарка очень выпитши…

– Живо подними!.. Я есть хочу, как волк…

– То есть она даже умерла… Раз-навсегда-совсем. Так что не может… От вина сгорела. Вчерась в полицию увезли. Потрошить.

Купец смерил человечка убийственным взглядом и коротко сказал:

– Дурак!

Из дальнейших объяснений оказалось, что в кухне – ни синь пороха и сам человечек вот уже вторые сутки сидит на хлебе, а теперь и тот доел. Раздосадованный Петр Данилыч порывисто нахлобучил шапку и ощупью выбрался на улицу, чтобы купить сообразно разыгравшемуся аппетиту по крайней мере охапку булок.

– Навряд ли, – уныло долетел до него гнилой голос человечка. – Теперича все спят… Поди, уж девять часов скоро. Собаки горло перервут. Спущены.

Увязая в девственных сугробах – ночь была снежная, слепая, – купец, весь потный, донельзя раздраженный сосущим голодом, пошел вдоль улицы, проклиная себя, что не догадался запастись съестным в дороге. Ему вновь было вспомнился без вести пропавший Прохор, но власть естества быстро притоптала все, и единая мысль была – есть, есть, во что бы то ни стало – больше!

И хоть бы одна живая душа. Всех точно перерезали, в окнах тьма, даже собаки дрыхнут, а всего еще десятый час.

На минуту выплыла луна, в ее мутном свете замаячил белый двухэтажный дом.

«Ага! Казначейство… Самый центр, значит… Собор…»

У широких ворот сидела на лавке огромная копна. Над ней клубился пар, как над тунгусской юртой. Петр Данилыч смекнул, что это караульный. Действительно: по крайней мере в двух тулупах, вывороченных шерстью вверх и напяленных один на другой, в огромных валенках, засунутых в пимокатные калоши, в которых, как в ладье, смело можно переплывать любую реку, ночной страж представлял собою неописуемое допотопное чудовище и, к довершению всего, мертвецки спал.

Когда Петру Данилычу наскучило по-человечески будить спящего, он сгреб его за покрытый инеем саженный, приподнятый кибиткой воротник и сбросил на землю. Пыхтя и переваливаясь с боку на бок, как на льду стельная корова, страж никак не мог подняться. Поглядывая на этого беспомощно барахтавшегося гиппопотама, на его нелепую шапку и рукавицы, сшитые из собачьих шкур, на болтавшуюся колотушку с камушком и оловянный, привязанный к шнурку свисток, Петр Данилыч от души громко рассмеялся:

– Ну и караульный!.. Вот так ловко!

– Ой, батюшка, подсоби-ка… Сделай милость.

Петр Данилыч твердо поставил его на землю.

– Да-кось палку-то… Не нагнуться мне, – словно попавшаяся в капкан старая лисица, жалобно заскулил старик.

Купец подал ему увесистую, с корневищем на конце, жердину.

– Ох, спасибо тебе, батюшка, отец родной! – И караульный, сбросив рукавицы, внезапно огрел изумленного купца жердью по голове.

– Что ты, старый черт?!

– Вот те что! Другой раз не будешь буянить по ночам. Варнак…

Насвистывая в свисток и стуча в колотушку, старик мутными узенькими глазками оглядывал прилично одетую фигуру стоявшего перед ним человека.

– Как ты, старый дьявол, смеешь?! Я завтра исправнику скажу… Я – купец!

– Купе-е-ц? – протянул старик; из его груди вырвался сокрушенный вздох. – В таком разе проходи вольготно… Без опаски… Это ничего. А ты чьих будешь?

– Громов. Мне бы поесть.

– Гро-о-мов? – изумился старик и, придвинувшись к Петру Данилычу, стал пристально всматриваться в его лицо. – Не из тайги ля ты?

– Оттуда. Из тайги.

– Вот так раз!.. Благодарю покорно. Ты, видать, Данилин сын? Что, дедка-то Данило жив?

– Помер.

Петр Данилыч хотел грубо оборвать разговор, но в нем шевельнулась надежда, что старик в конце концов накормит его.

– А ты знавал его, что ли?

– Дедку-то Данилу? Не только знавал, а на Страшном суде господнем рядом судиться будем… Во как я его знавал. Ямщиком я был у него, по тайге возил. – В голосе старика зазвучала желчная злоба, как шипенье гада, которому отдавили хвост. – Как же! Одной кровью мы с ним мазаны.

– Как так?

– Ну, уж это не твоего ума дело… – Старик многозначимо крякнул, ударил палкой в снег и смолк.

– Слушай, дед, не накормишь ли меня? – взмолил Петр Данилыч и сплюнул накатившуюся голодную слюну. – Аж дурно мне. С утра не евши.

– Какая может быть в ночи кормежка? Ночь, спят все… А впрочем говоря, шагай в Грабиловку, сейчас за мостом, там баранки стряпают парни и подолгу не спят. Может, пофартит тебе.

Он снова бухнулся копной на лавку и забубнил, прислушиваясь к скрипу поспешно удалявшихся шагов:

– Накорми-и-ть? Хы! Тоже, выдумал… Так я тебя и накормлю… Поужинал колом по башке – и будь доволен… Варначье отродье. Тьфу!

И закрутились в старой голове воспоминания, чем дальше вглубь – тем ярче.

«Да, покойник был ухарь. Данило-то… Едем мы разбойной ночью с ним тайгой… Вдруг бубенцы чуть сбрякали – мы сейчас в трущобу… У меня в руке шкворень, у него – кистень… Ну, я-то на каторге отстрадал свой грех, а он, змей, золотищем откупился… Эхма!..»

2

Утром чуть свет Петр Данилыч пошел в трактир «Тычок». Ранняя пора, но все столики в трактире были заняты, в воздухе стоял терпкий дух кирпичного чая, смешанный с кислым запахом овчины и человеческого пота. Распаривали горячим пойлом промерзшие свои животы приехавшие издалека на базар крестьяне, составляли им компанию перекупщики, барышники, называемые «сальными пупами». Вот двое не помнящих родства «Иванов», грязные, всклоченные, в бабьих кацавейках и рваных опорках, продрогшие в ночлежке, во всю прыть прискакали сюда по морозу и теперь, тряхнув «настрелянными» пятаками, умильно потягивают чай. Под потолком и на стойке горели керосиновые лампы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.